Андрей Белый

СТАРЫЙ АРБАТ



Повести



МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
1989

ББК 84Р7—4
Б43

Составление, вступительная статья и комментарии
ВЛ. Б. МУРАВЬЕВА

Б $\frac{4702010201-156}{М172(03)-89}$ 110—89 ББК 84Р7—4

ISBN 5—239—00308—4



КОТИК ЛЕТАЕВ

Посвящаю повесть мою той, кто работала над нею вместе со мною — — посвящаю Асе ее

— Знаешь, я думаю,— сказала Наташа шепотом...— что когда вспоминаешь, вспоминаешь, все вспоминаешь, до того довспоминаешься, что помнишь то, что было еще прежде, чем я была на свете...

(Л. Толстой. «Война и мир». Том II)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Здесь, на крутосекущей черте,— в прошлое я бросаю немые и долгие взоры...

Мне — тридцать пять лет: самосознание разорвало мне мозг и кинулось в детство; я с разорванным мозгом смотрю, как дымятся мне клубы событий; как бегут они вспять...

Прошлое протянуто в душу; на рубеже третьего года встаю пред собой; мы — друг с другом беседуем; мы — понимаем друг друга.

Прошлый путь протянулся отчетливо: от ущелий первых младенческих лет до крутизн этого самосознающего мига; и от крутизн его до предсмертных ущелий — сбегает Грядущее; в них ледник изольется опять: водопадами чувств.

Мысли этого мига тронутся мне вдогонку лавиной; и в снежном крутне померкнет такое мне близкое, над головою висящее небо: изнемогу я над пропастью; путь нисхождения страшен...

Я стою здесь, в горах: так же я стоял, среди гор, убежав от людей; от далеких, от близких; и оставил в долине — себя самого, протянувшего руки... к далеким вершинам, где: —

— каменистые пики грозились; вставали под небо; перекликались друг с другом; образовали огромную полифонию: творимого космоса; и тяжковесно, отвесно — громоздились громадины; в оскалы провалов вставали туманы; мертвенно реяли облака; и — проливались дожди; бегали издали быстрые линии пиков; пальцы пиков

протягивались, лазурные многозубия истекали бледными ледниками, и нервные, бледные линии гребнились повсюду; жестикулировал и расставлялся рельеф; пенились, проливались потоки с огромных престолов; и говор громового голоса сопровождал меня всюду: по часам плясали в глазах на бегу: стены, сосны, потоки и пропасти, камни, кладбища, деревеньки, мосты; пурпур трепаных мхов кровянил все ландшафты; крутни мокрого пара стремительно выбегали в расколах громадин; и — падали: между водою и солнцем; обдавал танцующий пар; начинал хлестать мне в лицо; облако падало под ноги: в космы потока пряталась бурно бившая пена под молоком; но под ним все: — дрожало, рыдало, гремело, стенало и пробивалось в редеющем молоке теми же водными космами...

Я стою здесь, в горах: и потоки все те же —

— с на краю их обсевшими старыми, деревянно резными домами подножной деревни и с церковною колоколенькой; «клянчат» звонкие колокольца коров неугомонно и весело — в серо-черном, в обсвистанном, ветром облизанном мире, где бросаются сосны приступом на чистейшие ледники, чтоб... разбиться о стену; вот подбросилась последняя сосенка; и — повисла; вон бегущие ветры в ветвях разрешаются в свисты под черным ревом утесов; вон — гортанный фагот... меж утесами... углубляет ущелье под четкими, чистыми гранями серых громад; вдруг почудятся звуки оттуда: серебристых арфистов, цитристов; там — алмазится снег; там, оттуда — посмотрит тот самый (а кто — ты не знаешь); и — тем самым взглядом (каким — ты не знаешь) посмотрит, прорезав покровы природы; и — отдаваясь в душе: исконно-знакомым, заветнейшим, незабываемым никогда...

Я стою здесь, в горах: меня ждет — нисхождение; путь нисхождения страшен...

. . . .

Мысли этого мига тронутся мне вдогонку лавиной; и в снежном крутне потускнеет такое мне близкое, над головою висящее небо: изнемогу я над пропастью.

Через тридцать пять лет уже вырвется у меня мое тело...

. . . .

Восхождение — благодатно: в нем укрыт счет стремнинам; в воспоминании, как не бывшие, — они стоят: вот и вот.

Здесь и здесь ты бывал: здесь и здесь.

Как же ты не сорвался?

В воспоминании сам с собой говорю: — здесь, на крутосекущей черте: —

— «Под ногами все то, что когда-то болезненно из тебя вырастало и что было тобою;

— «что мертвым камнем отваливалось и твердилось утесами...

— «Природа, тебя обстающая,— ты; среди ее угрюмых ущелий ты мне виден, младенец...

— «Ты, как я: ты — еси; мы друг в друге — узнали друг друга: все, что было, что есть и что будет, оно — между нами: самосознание — в объятиях наших...»

. . . .

Самосознание, как младенец во мне, широко открыло глаза и сломало все — до первой вспышки сознания; сломан лед: слов, понятий и смыслов; многообразие рассудочных истин проросло и охвачено ритмами; архитектоника ритмов осмыслилась и отряхнула былые мне смыслы, как мертвые листья; смысл есть жизнь: моя жизнь; она — в ритме годин: в жестикуляции, в мимике мимо летящих событий; слово — мимика, танец, улыбка.

Понятия — водометные капли: в непеременном кипении, в преломлении смыслов они, поднимающем радугу из них встающего мира; объяснение — радуга; в танце смыслов — она: в танце слов; в смысле, в слове, как в капле,— нет радуги...

. . . .

Самосознание, как младенец во мне, широко открыло глаза.

Вижу там: пережитое — пережито мной; только мной; сознание детства,— сместись оно, осиль оно тридцатидвухлетие это,— в точке этого мига детство узнало б себя: с самосознанием оно слито; падает все между ними; листопадами носятся смыслы слов: они отвалились от древа: и невнятица слов вкруг меня — шелестит и порхает; смыслы их я отверг; передо мной — первое сознание детства; и мы — обнимаемся:

— «Здравствуй, ты, странное!»

1915 г. Октябрь

Гошенен — Амстэг — Глион — С. Мориц

ГЛАВА ПЕРВАЯ

БРЕДОВЫЙ ЛАБИРИНТ

Час тоски невыразимой...
Все — во мне... И я — во всем.
Ф. Тютчев

«ТЫ — ЕСИ»

Первое «ты — еси» схватывает меня безобразными бредами: и —

— какими-то стародавними, знакомыми искони: невыразимости, небывалости лежания сознания в теле, ощущение математически точное, что ты — и ты, и не ты, а... какое-то набухание в никуда и ничто, которое все равно не осилить, и —

— «Что это?..»

Так бы я сгустил словом неизреченность восстания моей младенческой жизни: —

— боль сидения в органах; ощущения были ужасны; и — беспредметны; тем не менее — стародавни: исконно-знакомы: —

— не было разделения на «Я» и «не — Я», не было ни пространства, ни времени...

И вместо этого было: —

— состояние натяжения ощущений; будто все-все-все ширилось: расширялось, душило; и начинало носиться в себе крылорогими тучами.

Позднее возникло подобие: переживающий себя шар; многоочитый и обращенный в себя, переживающий себя шар ощущал лишь — «внутри»; ощущалися неодолимые дали: с периферии и к... центру.

И сознание было: сознаванием необъятного, обниманием необъятного; неодолимые дали пространств ощущались ужасно; ощущение выбегало с окружности шарового подобия — щупать: внутри себя... дальнее; ощущением сознание лезло: внутри себя... внутрь себя — достигалось смутное знание: переносилось сознание; с периферии какими-то крылорогими тучами неслось оно к центру; и — мучилось.

— «Так нельзя.

— «Без конца...

— «Перетягиваюсь...

— «Помогите...»

Центр — вспыхивал: —

— «Я — один в необъятном.

— «Ничего внутри: все — вовне...»

И опять угасал. Сознание, расширяясь, бежало обратно.

— «Так нельзя, так нельзя: Помогите...

«Я — ширюсь...» —

— так сказал бы младенец, если бы мог он сказать, если б мог он понять; и — сказать он не мог; и — понять он не мог; и — младенец кричал: отчего — не понимали, не поняли.

. . . .

ОБРАЗОВАНЬЕ СОЗНАНИЯ

В то далекое время «Я» не был...—

— Было хилое тело; и сознание, обнимая его, переживало себя в непроницаемой необъятности; тем не менее, проницаясь сознанием, тело пучилось ростом, будто грецкая губка, вобравшая в себя воду; сознание было вне тела; в месте тела же ощущался громадный провал: сознания в нашем смысле, где еще мысли не было, где еще возникали...—

— (если бы ощущения эти остались мне в моих будущих днях и если бы в это темное место взошло полноумие их и осветило б мне тело; если бы повернуться мне взором в себя и осветить мне себя; — то увидел бы я: наше небо; облака там бегут на громах в моем небе духовно-душевности белоходным изливом; а изливы — ветря́тся, ветвятся; и — ли́стятся; раскидается мыслями все; и это все отражается: в небе над нами; оттого-то оно говорит; и оттого оно — ведомо...) —

— где еще мысли не было, где еще возникали мне: первые кипения бреда.

. . . .

Образовались мне накипи: накипала мне теплота; и я мучился красным исжаром; перекипало сознанием облитое тело (зашипают пузырчатой пеною кости в кислотах); и накипел... первый образ: закипела в образах моя жизнь; и возникали на накипях накипи мне: —

— предметы и мысли...

. . . .

Мир и мысль — только накипи: грозных космических образов; их полетом пульсирует кровь; их огнями засвечены мысли; и эти образы — мифы.

Мифы — древнее бытие: материками, морями вставали когда-то мне мифы; в них ребенок бродил; в них и бредил, как все: все сперва в них бродили; и когда провалились они, то забредили ими... впервые, сначала — в них жили.

Ныне древние мифы морями упали под ноги; и океанами бредов бушуют и лижут нам тверди: земель и сознаний; видимость возникала в них; возникало «Я» и «Не — Я»; возникали отдельности... Но моря выступали: роковое наследие, космос, врывался в действительность; тщетно прятались в ее клочья; в беспокровности таяло все: все-все ширилось; пропадали земли в морях; изрывалось сознание в мифах ужасной праматери; и потопы кипели.

Строилась — мысль-ковчег; по ней плыли сознания от ушедшего под ноги мира до... нового мира.

Роковые потопы бушуют в нас (порог сознания — шаток): берегись,— они хлынут.

МЫ ВОЗНИКЛИ В МОРЯХ

В нас мифы — морей: «М а т е р е й»: и бушуют они красноярыми сворами бредов...

Мое детское тело есть бред «м а т е р е й»; вне его — только глаз; он — пузырь на летящей пучине; возникнет и... нет его; я одной головой еще в мире: ногами — в утробе; утроба связала мне ноги: и ощущаю себя — змееногим; и мысли мои — змееногие мифы: переживаю т и т а н н о с т и.

Пучинны все мысли: океан бьется в каждой; и проливается в тело — космической бурею; восстающая детская мысль напоминает комету; вот она в тело падает; и — кровавится ее хвост: и — дождями кровавых карбункулов изливается: в океан ощущений; и между телом и мыслью, пучиной воды и огня, кто-то бросил с размаху ребенка, и — страшно ребенку.

. . . .

— «Помогите...

— «Нет мочи...

— «Спасите...»

. . . .

— «Это, барыня, рост»...

. . . .

— «Помогите...
— «Нет мочи...
— «Спасите...»

. . . .

Так кричать не умеет младенец (так кричать будет после он); змеи ползают — в нем, вкруг него; наполняют его колыбель; и — шипят ему в уши.

Этот шип слышал ты — в тихий час полудневный, когда все замирает, а солнце стреляет лучами...

Ты этот свист уже слышал: свист сосен.

. . . .

Продолжаю обкладывать словом первейшие события жизни: —

— ощущение мне — змея: в нем — желание, чувство и мысль убегают в одно змееногое, громадное тело: Титана; Титан — душит меня; и сознание мое вырывается: вырвалось — нет его...—

— за исключением какого-то пункта, низверженного —

— в нуллионы Эонов! —

— осилить безмерное...

Он — не осиливал.

. . . .

Вот — первое событие бытия; воспоминание его держит прочно; и — точно описывает; если оно таково (а оно таково),—

— дотелесная жизнь одним краем своим обнажена... в факте памяти.

СТАРУХА

Первое подобие образа наросло на безо́бразии моих состояний.

Не сон оно: сон есть то, от чего просыпаются; Я же...— еще не проснулся; действительность, сон не чередовались друг с другом в мне данном мире. Самая данность стояла тяжелым вопросом...

Непробудности мне роились до яви —

— в кипениях я и жил и боролся! —

— непробудности, неподобные снам...

Нет, не сны они, а — сказал бы я —

— подсматривания себе за спину; и — желание тронуться с места; не носимости в вихрях бессмыслицы, развиваемой тысячекрыло, мгновенно и распадающейся в тысячи тысячекрыло летящих смерчей,— не такие носимости в «Я» (с внутри его лежащим пространством), а...— движение в чем-то: меня самого (мне пространство сложилось уж)...—

— Тронься — начиналось, слагалось — более всего за спиной: что-то такое; оно — не было мною, а было — такое огнёвое, красное: шаровое и жаровое; словом — старухинское: почему? Этого сказать я не мог.

Безóбразие строилось в образ: и — строился образ.

Невыразимости, небывалости лежания сознания в теле, ощущение, что ты — и ты, и не ты, а какое-то набухание, переживалось теперь приблизительно так: —

— ты — не ты, потому, что рядом с тобою старуха — в тебя полувлипла: шаровая и жаровая; это она набухает; а ты — нет: ты — так себе, ничего себе, ни при чем себе...—

— Но все начинало старушиться.

Я опять наливался старухой: наливается так дряблый зоб индюка — в ярко-красные пучности; протяжение, натяжение в окружающем, в глотающем, в лезущем — в суетном, в водоворотно-пустом — оказывалось: незримо-лежащим, припавшим, сосущим; стоило тебе тронуться, как оно, лежащее рядом и откровенно старушечье,—

— опрометью кидалося прочь; на мгновение становилось мне зримо: —

— будто тая сама тьма огневыми прорезями: молнийный многоног огнерогими стаями распространялся и бегал в исколотой, черной тверди...—

— тогда вспыхивал ярый шар и...— в красный мир колесящих карбункулов распадались темноты...

. . . .

Я не знаю, когда это было, но я... подсмотрел ее: у себя за спиной,—

— когда она, описывая в пространстве дугу, рушилась мне прямо в спину: из ураганов красного мира, стреляя дождями карбункулов; выгнулась ее бело-каленая голова с жующим ртом и очень злыми глазами; я несся в пропасть; и надо мною утесами света и жара она ниспадала — мне в спину; и, ухвативши за спину, описывала со мною в пространствах...— колеса...—

— Сам я был колесом.

. . . .

Думаю, что «старуха» — какое-либо из вне-телесных моих состояний, не желающих принять «Я» и живущих: глухою, особою, стародавнею жизнью; эта жизнь прорастает порою: у впадающих в детство старух, сумасшедших; и — носится по июльским ночам грозовыми зарницами; плевелы ее шелестят в пыли жизни:

Парки бабье лепетанье...
Жизни мышья беготня...

Сплетница мне и теперь напоминает «старуху»: в ней есть что-то «мистическое»...

ГОРИТ, КАК В ОГНЕ

Первый сознательный миг мой есть — точка; проницает бессмыслицу он; и — расширяся, он становится шаром, а шар — разлетается: бессмыслица, проницая его, разрывает его...

Стаи мыльных шаров вылетают из легкой соломинки... Шар — вылетит, подрожит, проиграет блеском; и — лопнет; капелька вязкой жижи, раздутая воздухом, заиграет светами мира... Ничто, что-то, и опять ничто; снова что-то; все — во мне, я — во всем... Таковы мои первые миги... Потом —

— вспыхнули едва приметные светочи; стал слезать с меня мрак (как со змееныша кожа змееныша); ощущения отделялись от кожи: ушли мне под кожу: выпали чернородные земли —

— Кожа мне стала, как... свод: таково нам пространство; мое первое представленье о нем, что оно — коридор...—

— Мне впоследствии наш коридор представляется воспоминаньем о времени, когда он был мне кожей; пе-

редвигался со мною он; повернись назад — он сжимается сзади дырой; впереди открывается просветом; переходики, коридоры и переулки мне впоследствии ведомы; слишком ведомы даже: а вот — «я»; а вот — «я»...

Комнаты — части тела; они сброшены мною; и — висят надо мной, чтоб распасться мне после и стать: чернородом земли; тысячелетия строю я внутри тела; и бросаю из тела: мои странные здания: —

— (и ныне: — в голове я слагаю: храм мысли, его уплотняя, как... череп; я сниму с себя череп; он будет мне — куполом храма; будет время: пойду по огромному храму; и я выйду из храма: с той же легкостью мы выходим из комнаты).

. . . .

Ощущения отделялись от кожи: она стала — навислостью; в ней я полз, как в трубе; и за мною — ползли: из дыры; таково вхождение в жизнь...—

— Сперва образов не было, а было им место в навислости спереди; очень скоро открылась мне: детская комната; сзади дыра зарастала, переходя — в печной рот (печной рот — воспоминание о давно погибшем, о старом: воет ветер в трубе о довременном сознании); между дыр (моим прошлым и будущим) пошел ток перегоняющих образов: съеживались, распространялись, переменялись, метались и, обливая меня кипятком, в меня влипали они (их остатки — стенные обои: и по ночам они гонятся мне, как прогоняется звездное небо)... Предлиннейший гад, дядя Вася, мне выпалзывал сзади: змееногий, усатый, он потом перерезался; он одним куском к нам захаживал отобедать, а другой — позже встретился: на обертке полезнейшей книжки «Вымершие чудовища»; называется он «динозавр»; говорят — они вымерли; еще я их встречал: в первых мигах сознания.

Вот мой образ вхождения в жизнь: коридор, свод и мрак; за мной гонятся гады —

— этот образ родственен с образом странствия по храмовым коридорам в сопровождении быкоголового мужчины с жезлом...—

. . . .

Врезал мне это все голос матери:

— «Он горит, как в огне!»

Мне впоследствии говорили, что я непрерывно болел: дизентериею, скарлатиной и корью: в то именно время...

ДОКТОР ДОРИОНОВ

Помню комнатку: в ней предметов не помню; но — беспорядок во всем; все — раскидано, разворочено, взрыто, как... в душе моей — затрепетавшей, встревоженной, вспугнутой, потому что... —

— бабушка там, потрясаемая испугами, но испуги тая от меня и меня заражая испугами,— посиживает и набивает себе папиросы: без чепчика, лысая; морщинится ее лоб, когда она, приподымая глаза над очками, поглядывает на меня исподлобья — в коричневатом капоте, выделяющемся на стене — из табачного дыма; и капот, и лысина в слабых мерцаниях свечки мне не кажутся добрыми. Знаю я — скверновато: даже совсем скверновато; а почему — этого не могу я понять; потому ли, что открыто мне неприличие бабушки (вместо чепчика с лиловыми лентами вовсе голая голова), потому ли, что целая половина стены отсутствует вовсе: не четыре стены — три стены; четвертая — распахнулась своим темнодонным оскалом со множеством комнат —

— все комнаты, комнаты, комнаты! —

— в которые, если вступишь, то — не вернешься обратно, а будешь охвачен предметами, еще не ясно какими, но, кажется, креслами в сероватых, суровых чехлах, вытарчивающих в глухонемой темноте; суть же не в креслах, а, так сказать, в протяжениях материи воздуха и в открытой возможности ощутить холодноватый бег сквознячка из комнаты в комнату, увидать прыжок в зеркало... кресла. Словом — скверные комнаты!

Между тем: сознавая немыслимость там водиться, кто-то все же наперекор всему там завелся; и — безалаберно возится среди кресел — посиживает, похаживает, погромыхивает и правит — пустопорожний свой шаг, едва уловимый отсюда, по дальним пустотам...

Если быть вовсе тихим, то шаг не захочет приблизиться, потому что привольней ему там стучать одному, чем томить нас в ужасных возможностях переживать наступление шага; и — главное: чувствовать — неотделенность стеною от шага; можно в таком положении жить; двигать-

ся тоже можно, пожалуй; но — без единого стука; стукни; и — примется он: пристукивать, притоптывать, крепнуть, перерождаяся в грохоты.

Чувствую невозможность дальнейшего пребывания без единого звука: хочу издать звук; бабушка, задрожав, как осиновый лист, мне грозится рукою:

— «Этого нельзя: ни-ни-ни!»

Я — громко щелкаю: и — ай! — что я сделал!

Оно — совершается; оно уже совершилось, потому что он, кто там жил, вызываемый стуком, он — прёт уже; и он уже крепнет; издалёка-далека он мне отвечает на вызов; и — ти:-те:-та:-то:-ту! — вытопатывает он мне: тот самый (а кто, я не знаю)... Это было многое множество раз: из темноты перли грохоты бестолкового, сурового шага; если бы добежать до постельки и если бы, завернувшись, уснуть, то ничего и не будет: все кончится; засыпая уже, буду слышать я разрушение грохота в тихий свист и похрапыванье кого-то, успокоительно спящего...

Поздно...—

— выбежал из чернотного грохота мне навстречу —

— весьма прозаичный толстяк, с короткой шеей блондин, здоровяк: поворачивал он брюшком; на меня он поблескивал золотыми своими очками; и — золотою бородкою; он впоследствии появился и в яви: это был Дорионов, Артем Досифеевич, доктор мой; мне впоследствии говорили, что я непрерывно болел; и в то самое время. У доктора Дорионова, помню я,— были огромных размеров калоши, подбитые чем-то твердым: и, попадая в переднюю, производил ими грохот он; я всегда его узнавал по громоносному топоту, по огромной енотовой шубе, висящей в передней, и по резкому звонку во входную дверь; перед его появлением у меня поднималась: ноющая ломота в ногах; он прописывал рыбий жир; и при этом он шлепал — себя по коленям, надсаживаясь от добродушного хохота; кажется, разводил на дому канареек; и когда слышал пение —

вьется ласточка сизокрылая под
окном моим, под косящатым,—

— то

заливался слезами он: с отцом игрывал в шашки, а над бабушкою он подшучивал и утверждал, что мы живем не на шаре, а — в шаре.

. . . .

Думаю, что погоня и грохоты: пульсация тела; сознание, входя в тело, переживает его громыхающим великаном; события этого сна объяснимы мне так.

И — думаю...—

И ДУМАЮ...

— Переходы, комнаты, коридоры напоминают нам наше тело, преобразуют нам наше тело; показуют нам наше тело; это — органы тела... вселенной, которой труп — нами видимый мир; мы с себя его сбросили: и вне нас он застыл; это — кости прежних форм жизни, по которым мы ходим; нами видимый мир — труп далекого прошлого; мы к нему опускаемся из нашего настоящего бытия — перерабатывать его формы; так входим в ворота рождения; переходы, комнаты, коридоры напоминают нам наше прошлое; прообразуют нам наше прошлое; это — органы... прошлой жизни...—

— переходы, комнаты, коридоры, мне встающие в первых мигах сознания, переселяют меня в древнейшую эру жизни: в пещерный период; переживаю жизнь выдолбленных в горах чернотных пустот с бегающими в черноте и страхом объятыми существами, огнями; существа забираются в глуби дыр, потому что у входа дыр стерегут крылатые гадины; переживаю пещерный период; переживаю жизнь катакомб; переживаю... подпирамидный Египет: мы живем в теле Сфинкса; комнаты, коридоры — пустоты костей тела Сфинкса; продолби стену я... мне не будет Арбата: и — мне не будет Москвы; может быть... я увижу просторы ливийской пустыни; среди них стоит... Лев: поджидает меня...

. . . .

Вообразите себе человеческий череп: —

— огромный, огромный, огромный, превышающий все размеры, все храмы; вообразите себе... Он встает перед вами: ноздреватая его белизна поднялась выточенным в горе храмом; мощный храм с белым куполом выясняется перед вами из мрака; неповторяемы кривизны его стен; неповторяемы его точеные плоскости; неповторяемы архитравы колонн его входа: колоссального, точеного рта; многозубоколонный рот — вход открывает безмерности сумраком овеян-

ных зал: черепных отделений; каменистые пики встают в сумрак свода; перекликаются гулким шумом костяные своды его; и — опускают объятия; и — образуют огромную полифонию творимого космоса; и тяжковесно, отвесно нисходят уступы; падают взоры в оскалы провалов — многовидных дыр,— уводящих быстрою линией переходов в лабиринт полукружных каналов; вы выходите в алтарное место — над ossis sphenodei...[1] Сюда придет иерей; и — ожидаете вы: перед вами — внутренность лобной кости: вдруг она разбивается; и в пробитую брешь в серо-черном, в обсвистанном, в ветром облизанном мире несутся: стены света, потоки; и крутнями вопиющих, поющих лучей они падают: начинают хлестать вам в лицо:

— «Идет, идет: вот — идет» —

— и уносятся под ноги космы алмазных потоков: в пещерные излучины черепа... И вы видите, что Он входит... Он стоит между светлого рева лучей, между чистыми гранями стен; все — бело и алмазно; и — смотрит... Тот Самый... И — тем самым взглядом... который вы узнаете, как... то, что отдавалось в душе: исконно-знакомым, заветнейшим, незабываемым никогда...

Голос: —

— «Я...»

Пришло, пришло, пришло: пришло — «Я...»

. . . .

Вы представьте скелет: крестообразно раскинул он руки — кости; и — неподвижно простерт, чтоб... восстать в третий день... Вы представьте: —

— вы — маленький-маленький-маленький, беззащитно низвергнутый в нуллионы эонов — преодолевать их, осиливать — схвачены черным свистом пустот и стремительным пунктом несетесь (это первая прорезь сознания: воспоминание его держит прочно и точно описывает); дотелесная жизнь обнажена ужасно и мрачно; за вами несется старуха; и ураганом красного мира она протянула свои гигантские руки; а вы — беспокровны; вдруг — толчок: вы — малюсенький-маленький вдруг ударились о скелетное тело храма; вы спасаетесь во внутренность храма; и слышите, как разби-

---

[1] Наименование одной из костей черепа.

ваются о него океаны красного мира: там склонилась старуха; она не может войти —

— вы представьте: вы входите; и — поднимаете голову: справа и слева симметрично бегущие своды ребер; изогнуты прихотливо их плоскости; встают перед вами, как память... о памяти; чудесные дуги скелетного храма; впереди — проход... к белому алтарю; и там — череп; из огромности гулких зал, среди белого великолепия выступов вы повертываетесь назад — к выходу; миры бреда горят там; изумление, смятение, страх овладевает: действительность, откуда вы выпали — и не мир.

И нахождение себя в храме подобно вопросу:

— «Как?..

— «Зачем?

— «Почему?

— «Как сюда ты попал?»

Из алтаря проливается свет: это «Я», иерей, совершает там службы; и — воздевает он руки:

— «Я, Я».

Вы узнали Его.

Как он «Я» там стоит: и простирает навстречу — пречистые руки... Этот жест — жест захожего иерея — жест воздетых рук отпечатлели, конечно, надбровные дуги: по окончании светлой утрени Иерей уйдет; вы его года не увидите... Он вернется на родину...

. . . .

Созерцание черепа странно: и он — память о памяти великолепного скелетного храма, выдолбленного нашим «Я» в скалах черного мрака; в храме тела — лежат планы храмов; и восстанет, я верую, из храмовых обломков: храм тела.

Так гласит нам писание...

. . . .

Созерцание черепа утешает, напоминает; и — смутно учит чему-то; жест надбровных дуг ведом нам; это жест окрыленного «Я», вставшего из гробовой покрышки, пещеры, чтобы некогда вознестись; чтоб... вернуться на родину...

ЛАБИРИНТ ЧЕРНЫХ КОМНАТ

После первого мига сознания предстают: коридоры и комнаты —

— все комнаты, комнаты, комнаты! —

— в которые, если вступишь, то — не вернешься обратно, а будешь охвачен предметами, еще не ясно какими, но, кажется, креслами в сероватых, в суровых чехлах, вытарчивающих в глухонемой темноте; множество немых кресел: под любым можно жить; все — мне ведомо; где-то я проходил тут —

— может быть... внутри тела, ощущеньями перебегая от органа к органу и охваченный прорастающей жизнью, еще не ясно какою, но кажется... вырастающей; ее глухие наросты вытарчивали мне суровыми образами в глухонемой темноте; перебегал я от органа к органу и уходил в огромное материнское тело утробного мира...—

— странно ведомы стены, уводящие в неизмеримые глуби: уводящие к «матерям», где все образы тают в безóбразном...—

— Коридоры и комнаты, в которые если вступишь, то не вернешься обратно, а будешь охвачен предметами, еще не ясно какими, но... кажется... креслами...; сознавая немыслимость здесь водиться, я завелся, однако, наперекор всему, вздрагивая в глухонемой темноте; и действительность комнат восставала мне — отложением расширения ощущений, отбежавших в «Я» и оставивших во все стороны следы свои: стены; из морей безóбразия поднялись континенты; моря убежали под ноги; под полом бушевали они; угрожали разбить все паркеты: затопить меня.

Казалося: — в отдалении, среди комнатной анфилады, сидит моя бабушка; бегают нити на спицах (она вяжет чулок); и — бабушка мне грозится среди скверненьких сквознячков, перебегающих из комнаты в комнату; далее — в глубине переходов еще бегает бестолочь; и гремит кто-то древний; все-то ломится он; все-то ищет меня; в торопливых поисках правит он пустопорожний свой шаг: по дальним пустотам; он — чужой: Артем Досифеевич Дорионов, быкообразный, брюхатый,— бегает в бесконечности лабиринтов; то подбегает он близко; а то отбегает — в неизмеримые дали ходов, где еще не обсохла действительность, и гад, дядя Вася, купается в грязи там. По ближайшим комнатам кто-то водит меня; молчаливо, сурово; кто-то светочем освещает мне путь, впоследствии становится ясным: это мама иль няня проводят меня из

коридора... в мою детскую комнатку...; вспоминаю я это шествие; мне казалось оно бесконечным; напоминало оно: шествие по храмовым коридорам в сопровождении быкоголового мужчины с жезлом —

— (я впоследствии видел изображения таких шествий; изображениями этими пестрят подземные гробницы Египта; и я видел ведущих: песьеголовых, быкоголовых мужчин с длинными жезлами в руках...)

Мне казалося: —

— переходы квартиры ведут к бездне мрака; и все там обрываются: далее — чернотные грохоты, по которым несется старуха, стреляя дождями карбункулов (переживание это меня охватило однажды: при прохожденьи земли чрез комету); я когда-то там проносился; она мчалась за мною; меня вытащили из громов космических бурь; и — повели коридором; так тянулись века: все-то гнались за нами; странно было это суровое шествие по коридору квартиры — в сопровождении человекоподобного существа со свечою в руке.

. . . .

Еще долго за мною протянута память туда — в лабиринт черных комнат, к чужому: все чужие — оттуда; еще долго спустя подозрительно я встречаю... гостей; а когда узнаю про Тезея и про быка Минотавра, то становится ясно мне: Артем Досифеевич — Минотавр; я же, щелкнувший в мрак пустых, пустых комнат,— Тезей.

ЛЕВ

Среди странных обманов, туманно мелькающих мне, передо мной возникает страннейший: передо мною маячит косматая львиная морда; уж горластый час пробил: все какие-то желтороды песков; на меня из них смотрят спокойно шершавые шерсти; и — морда; крик стоит:

— «Лев идет...»

. . . .

В этом странном событии все угрюмо-текучие образы уплотнились впервые; и разрезаны светом обмана маячивших мраков; осветили лучи лабиринты; посреди желтых, солнечных суш узнаю я себя: вот он — круг; по краям его — лавочки; на них темные образы женщин, как — образы ночи; это — няни, а около, в свете — дети, при-

жатые к темным подолам их; в воздухе — многоносое любопытство; и среди всего — Л е в —

— (Я впоследствии видывал желтый песочный кружок — между Арбатом и Собачьей Площадкой, и доселе увидите вы, проходя от Собачьей Площадки, обсаженный зеленью круг; там сидят молчаливые няни; и — бегают дети)...

. . . .

Образ этот — мой первый отчетливый образ; до него — неотчетливо все; неотчетливо — после; мутные, мощные, мрачные, переменные миги мои мне рисуют события, со мною не бывшие вовсе; мне действительность города возникает впервые гораздо позднее; но осколок ее мне — тот желтый кружок, перекинутый от... Собачьей Площадки... в мой мир марева: посередине желтого круга мы встретились: я и л е в.

Мне отчетливо: —

— Лев есть Л е в: не собака, не кошка, не утка; смутно помнится: льва я где-то уж видел; и видел — огромную, желтую морду.

Да я знал ее прежде: я ждал ее...

Это событие встречи упреждает отчетливо мне встречу с близкими ликами: мамы, папы и няни... Среди образов снов еще нет этих образов; есть их запахи, голоса, ощущение; есть движение с ними в пространстве: вот несут меня, переносят, укладывают, гасят свет, защищают от тьмы; переносящих не вижу я вовсе; и я знаю объятия; папа, мама и няня мне спрятали свои лики; сквозь объятия их мне просунуты все какие-то полулюди: вот ужасный толстяк Дорионов, старуха и гад дядя Вася; правда, помнятся: тетя Дотя и бабушка: тетя Дотя протянута в зеркалах с выбивалкой в руке; бабушка — и грозна, и лыса. Больше образов нет...

Почему же л е в мне знаком?

. . . .

Я отчетливо помню, что —

— линии блещущих лавочек, солнце и желтая суша — куда-то отъехали перед львом; лев растет; и — заслоняет мне все; ужасаюсь я: рухнули все преграды меж нами; все, что пряталось, появилось — под солнцем. Покров солнца на мраке не защищает от мрака; солнце бросило в мрак желтый круг; и из мрака ночей повылезали на желтую сушу все дети и няни: отдохнуть от опасностей; и тогда-то вот из желтеющей ку-

чи песку, из-под круга на круг вылезать стал на нас головастый зверь, л е в: и все снова — пропало; солнце спряталось; снялось желтое пятно круга; и няни, и дети снялись; все снялось: и продолжилась тьма.

. . . .

Я впоследствии, четырех-пяти лет, проходил по кружку; и тогда вспоминал уже я, что мне снилось когда-то (когда — я не помню) —

— вот здесь встретил Л ь в а я...

ЧЕРЕЗ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ — ЧЕРЕЗ ТРИДЦАТЬ ДВА ГОДА

Через двадцать лет: —

— мне отчетливо кинуто снова: событие с «Львом»; углублено мне отчетливо; косматая морда опять предо мною; невероятности бреда мне врезаны в вероятное; сон стал фактом; понял я до конца: бреды — факты; и сны суть действительность; через двадцать лет сызнова Лев стоит предо мною.

. . . .

Я любил рассказывать сны: пояснять свои миги сознания; и первые миги я вспомнил в то время; я любил погружаться в их темное, грозное лоно; научился я плавать в забытом; извлекать темнодонное: изучать его; в это время я много читал: о дне океанов и гадах; п а л е о н т о л о г и я открывает мне свои тайны; я — естественник; мои товарищи — тоже; собираемся мы дружным, тесным кружком; и забавляемся небылицами.

Помню я: уж весна; на носу экзамены; жарко; лаборатория опустела; темнеет; уж весенний вечер в окне; угасает жужжание электрической печи; бросаем реторты; в прожженных тужурках идем к подоконнику; начинаются разговоры о снах; яркими красками рисую жизнь детства: с т а р у х у и г а д о в; говорю о к р у ж к е и о л ь в е: о его желтой морде...

Товарищ смеется:

— «Позвольте же... Ваша л ь в и н а я м о р д а — фантазия».

— «Ну да: сон...»

— «Да не сон, а фантазия: россказни...»

— «Уверяю вас: этот сон видел я».

— «В том-то и дело, что сна вы не видели...»

— «?»

— «Просто видели вы сан-бернара...»
— «Льва...»
— «Ну да: «Л ь в а...»
— «?»
— «То есть «Л ь в а» сан-бернара...»
— «Как так?»
— «Этого «Ль в а» помню я...»
— «?»
— «Помню желтую морду... не «л ь в а», а — собаки...»
— «??»
— «Ваша львиная морда — фантазия: принадлежит она сан-бернару, по имени «Л е в».
— «А откуда вы знаете?»
— «В детстве и я проживал около Собачьей Площадки... Меня водили гулять — на кружок; там и я видел «Л ь в а...». Это был добрый пес; иногда забегал на кружок он; в зубах носил хлыстик; мы боялись его: разбегалися с криком...»
— «И вы помните крик «Л е в — и д е т»?
— «Разумеется, помню...»

. . . .

Мой кусок странных снов через двадцать лет стал мне явью...—

— (может быть, лабиринт наших комнат есть явь; и — явь змееногая гадина: г а д д я д я В а с я; может быть: происшествия со старухою — пререкания с Афросиньей, кухаркой; ураганы красного мира — печь в кухне; колесящие светочи — искры; не знаю: быть может...)

Товарищ смеялся:
— «Около Собачьей Площадки есть дом: сан-бернары не переводятся в этом доме; около Собачьей Площадки и теперь они бегают; их же праотец — «Л е в».

. . . .

Очень скоро впоследствии, проходя по Толстовскому переулку, выходящему на «к р у ж о к», встретил я: желтоногого сан-бернара с шершавой, слюнявою мордою...

«Л е в» продолжился — в нем...
Но душа глухо дрогнула:
— «Л е в — идет: близко знаменье».
В это время я читывал «Заратустру».

. . . .

И — прошло лет двенадцать: тридцатидвухлетие от-

делило меня: от первого появления Льва, и тогда, в **т р е т и й р а з**, появился он: встал воочию и — угрожал мне, погибелью...

ВСЕ-ТАКИ

Из сумятицы жизни, в толпе, среди делового собрания, сколько раз я повертывался к странному явлению «Л ь в а»: в дальнем детстве, теперь и во время студенчества.

И — глаза мои расширялись; невидящим взором глядел я в пространство; толкали прохожие; качал головой собеседник: я отвечал невпопад; изумление, смятение, страх овладевали мной.

Я себе говорил: —

— «Действительность эта — не сон: но она — не действительность...»

— «Что все это: и — где оно было?»

— «Приходил д е т с к и й лев: и опять, и опять».

— «Ты с ним встретился...»

. . . .

Явственно: никакой собаки и не было. Были возгласы:

— «Лев — идет!»

И — лев шел.

. . . .

В это детское время сознание изобразимо мне так: провалился я; и — повис в черной древности: блистать в черной древности; иногда вокруг сны — дымят: и бегут лабиринты из комнат; и припадают к лицу; и узором обой остановятся передо мною; и узором обой прямо смотрят мне в душу; отступят: опять провалился; повис в черной древности; все отряхнуто — стены, кресла, предметы; все — грозно; все — пусто; действительность — дыра в древнем мире; миг — и снова они: лабиринты из комнат; и изо всех лабиринтов глядится: т о т с а м ы й; а кто — ты не знаешь: и тянет к нам руки; до ужаса узнанной бурей несется без слов:

— «Вспомни же: это я — старая старина...»

Страшное роковое решение уже принято: не избежать, не осилить: за ним! —

— все! —

— туда!..—

А куда, я — не знаю.

. . . .

Ярче всего мне четыре образа: эти образы — роковые: бабушка и лыса, и грозна; но она — человек, мне исконно знакомый и старый; Дорионов — толстяк; и он — бык; третий образ есть хищная птица: с т а р у х а; и четвертый — Л е в: настоящий л е в; роковое решение принято: мне зажить в черной древности; мне глядеться в т о с а м о е (вот во ч т о, я не знаю)... И о н о надвигается; восстает: и окружает меня лабиринтами комнат; среди этого лабиринта — я; более — ничего.

Странно было мне это стояние посредине; или вернее: мое висенье ни в чем; и кругом — они, образы: человека, быка, льва и... птицы. Думаю, что они — мое тело; черная мировая дыра — мое темя; «я» в него опускаюсь: не сошел еще — мучаюсь; распространенный по космосу, я ужасно сжимаюсь; переживаю я погружение себя в тело, как... опускание в мировую дыру; но решение принято: час жизни пробил; и, выпуская меня из родительских рук, Кто-то давний стоит там за «Я»; и — все тянет мне руки: из-за багровых расколов; эти руки, желтея, мрачнеют; и — переходят во тьму.

. . . .

— «Я — приду».

ОБРАЗОВАНЬЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Как в пространствах грохнувший метеор,—

— издалека́, неотчетливо, говорливо, рассыплется, как горох по паркету:

— «Д а в о с к р е с н е т Б о г!»
— «Ха-ха-ха...»
— «Барин...»
— «Право...»
— «Чудак...»
— «Михаил Васильич, оставьте!»
— «И р а с т о ч а т с я в р а з и е г о...»
— «Ха-ха-ха...»
— «Чтой-то, право...»
— «Математики, ученые, го́ловы: там себе — шутят...»
— «Ха-ха...» —

— разорвется — все: стены, комнаты, полы, потолки; или: вгонится в темное отверстие безо́бразно-безвременного, как вгоняется мыльный пузырь в отверстие узкой соломинки; лопнет все: лопну я...

. . . .

Мне открылось впоследствии (я — подрос уже в эту пору): Афросинья, кухарка, с Дуняшею, горничной,— побранятся; и подымется: в кухне крик; папа выскочит из кабинета в гостиную, пробежит по столовой, передней; и — в кухню; там он примется:

«Отче наш... Иже еси на небесех...»

Или — примется он: «Да воскреснет Бог» —

— угомонять крикунью-кухарку, грызущую все, бывало, Дуняшу: и, потрясенная текстом, молчит Афросинья; Дуняша смеется сквозь слезы: папа, мама и няня хохочут; Серафима Гавриловна с бабушкой угощаются табачком и разводят руками:

— «Математик, ученый, чудак...»

— «Что прикажете делать».

Я же — падаю в обморок, потому что —

— «Я» и «все кругом» — связаны: ощущение строит мне окружение: — распадаются стены в чернотные бездны; папа, мама и няня вываливаются; а «Я» — без действительности; сотрясение ощущений мне обдувает все, точно пух одуванчика, уносимый от брежжущей свечки в пустотные ночи.

Я — нервный мальчик: и громкие звуки меня убивают; я сжимаюся в точку, чтобы в тихом молчаньи из центра сознания вытянуть: линии, пункты, грани; их коснуться своим ощущеньем; и оставить меж них зыбкий след: перепонку; перепонка эта — обои; меж ними — пространства; в пространствах заводятся: папа, мама и... няня. Помню: —

— я выращивал комнаты; я налево, направо откладывал их от себя; в них — откладывал я себя: средь времен; времена — повторения обойных узоров: миг за мигом — узор за узором; и вот линия их упиралась мне в угол; под линией линия; и под днем — новый день; я копил времена; отлагал их пространством; здесь — в огромных обойных букетах — время мчалось галопом; а у той стены — разрывался мне пульс его; я пульсировал временем; я пульсировал коридором, столовой, гостиной: коридорные, столовые времена!

ВЕЧНОСТЬ В ЧЕХЛАХ

Действительность —

— выгонялась из... труб, как выгоняется мыльный пузырь из тончайщей соломинки: действительность не текла, а надувалась и лопалась; комнаты возникали мне; комнаты лопались; в комнатах — топали, хлопали, лопались все предметы; и — таяла тетя Дотя,—

— все еще она не сложилась: не оплотнела, не стала действительной, а каким-то туманом она возникала безмолвно: между чехлов и зеркал; мне зависела тетя Дотя: от чехлов и зеркал, между которыми —

— и слагалась она в величавой суровости и в спокойнейшей пустоте, протягиваясь с воздетой в руке выбивалкой, с родственным отражением в зеркалах, с родственно задумчивым взором: худая, немая, высокая, бледная, зыбкая — родственница, тетя Дотя; или же: Евдокия Егоровна... Вечность...

Родственность — отражение моих состояний сознаний (в данном случае: чехлов пустой комнаты); отражение было так хрупко, что приближение шага отряхивало тетю Дотю тенями: по четырем углам комнаты...

Мне Вечность — родственна; иначе — переживания моей жизни приняли бы другую окраску; голос премирного не подымался бы в них; не спадали бы узы крови; меня не считали б отступником; и я не стоял бы пред миром с растерянным взглядом.

КОМНАТЫ

Квартирой отчетливо просунулся внешний мир,— то есть то,—

— что от меня отвалилось и на чем летучились сны, прилипая обоями к укрываемым комнатам; а сквозь них, из углов, пошел ток мрачной жизни, слагая мне будущих спутников: тетя Дотя в то именно время слагалась — в углу, на обоях, из теней; она еще не сложилась; и —

— ти-те-та-та-то-ту —

— погромыхивал откуда-то издали папа «Непапа»; старые ямы открыты, как... старые язвы; и этот папа Непапа — язвительный, клочковатый, нечеса-

ный; изнутри он горит, а извне — осыпается пеплом халата; под запахнутой полой халата язвит багрецом он; и он — огнедышащий: папа Непапа, как... Этна: остывает он; громыхая, он обнимает... нас: ураганом текущего.

Воспоминание об огнедышащем папе у меня сливается с воспоминанием о позднейших рассказах —

— папа свечкою поджег штору; штора вспыхнула: но, никого не позвав, папа бросился из постели в пламенистые клóки — рвать и босыми ногами растаптывать; затоптав пламена, лег он спать; утром входит прислуга и видит: часть стены обгорела; папа же — спит себе —

— настоящий пожарный!

Линии, светочи, жары отвердевали поверхностями предметов, и, где не было никакого порога,— порог появлялся; верилось в иные, таимые комнаты среди не таимых, вот этих; потом обнаружились окна к ним — зеркала: тетя Дотя связана с зеркалами; все, бывало, выглядывает она на меня из зеркал — лицевым, бледноватым пятном.

С няпюшкой Александрою жили мы в правилах; была правилом комната; и жили мы в комнатах: в правильных комнатах, преодолимых и измеряемых, о четырех стенах; словом, жили не в трубах.

И заключили мы договор: —

— мне жить по закону: около угла, сундучка,— при часах; и слушать мне тиканье; здесь, на коврике, одолевались пространства; и за ковром, там —

— охватывал Анаксимандр: беспредельностью; —

— это я кричал про него, по ночам,— всего одно только слово:

— «Афросим!»

— просто я перепутал: «афросюнэ» по-гречески ведь безумие; а Афросинья служила в кухарках: в то именно время; старообразая, все бранилась она.

Папа ей говорил:

— «Афросинья молода —

«Не бранится никогда».—

Или, скажет наш папа: —

— «Земля —

шар...»

Это — я понимал, как понимал вообще я круглоты, и их я боялся: ведь сам же я шарился; и папа — охватывал страхом, становяся папой Непапой, каким-то Вулканом, посыпанным лишь для вида черной золой сюртука; под ней все кипит: огнедышащий папа!

Все-то он налезает на нянюшку (все сказали бы — с шутками: а какие там шутки!) и грозится извергнуться лавою меня сотрясающих слов:

«Не бил барабан перед смутным полком,
«Когда мы вождя хоронили».

Еще можно держаться мне в строе, когда скажет, бывало, он:

— «Вот сидит он на рогоже,
«Бледный и немой» —

— это мне и понятно, и просто; даже — на пользу мне: сам я на коврике; сам я и бледен, и нем, как бледна и нема моя нянюшка; немота сидящего на рогоже понятна; он сидит, как и я; и пребывает, как я,— он; на рогоже — одолевается и пространство, и время; за рогожею — рдяный мир.

Папа же тут занепапится; и — пригрозит старой яростью:

«Краски огненного цвета
«Брошу на ладонь,
«Чтоб предстал он в бездне света,
«Красный, как огонь!..»

— А я — я взреву, весь охваченный ярой рдяностью багрец изливнего, рассвирепевшего — косматого и очкастого Папы, способного меня затащить в те миры, откуда, с опасностью жизни, был я вытащен трубочистом.

Нянюшка меня накрывает от папы, а я — я предчувствую: будет, будет нам с нянюшкой гибель от папы; и потом, когда папы уж нет, я пугливо оглядываюсь; вот он там на нас набежит; нянюшка в ужасе на меня принавалится, меня спасать: папа же — сорвет с меня нянюшку: затащит мне нянюшку, может быть... с ней описывать там в пространствах... колеса!

. . . .

Переживание звука телесного голоса, как грохота бестолочи, переживание тела, как бездны, в которую рухнул ты —

— безобразно пухнуть и пучиться —

— вот посвяти-

тельный образ: в произрастание жизни; вспомните, что говорят наши няни:

— «Это, барыня, рост».

ИЗ СУМЯТИЦЫ ЖИЗНИ

Из сумятицы жизни, в толпе, среди делового собрания, сколько раз я повертывался назад, к первому мигу сознания; и — глаза мои расширялись; изумление, смятение, страх овладевали мной; я — хватался за голову; я — говорил себе:

— «Действительность, где ты был,— и не мир».

Мне был мир — ощущением... даже не органов тела, а —

— бьющих, рвущих и странно секущих биений, в меня впаянных, меня тянущих за собой, развивающих во все стороны от меня крылорукие молнии пульсов; образом и подобием моего состояния может служить разве лишь изображение чудища, тысячерукого существа (сиамские статуэтки — вы помните?).

Таковы мои первые ощущения; а нахождение себя в ощущении было подобно вопросу:

— «Как?

— «Зачем?

— «Почему?

— «Как сюда ты попал?» —

— То есть: —

— было сознанье контраста, но — с чем? Была память... О чем была память? Что «Я» — «Я» — этому я дивился позднее. Наконец, было знание, которое я не мыслю без опыта: у бесконечности есть предел; и стало быть: законечное; «законечного» не было мне: детской комнаты, няни, мамы и папы — не возникало еще.

Законечное переживалось, как... прошедшая в ощущение память: о дотелесном...

. . . .

Мои детские, первые трепеты: трепеты ощущаемых мыслечувствий сознания; трепеты образованья текучих миров, пламенных объятий вселенной (огонь Гераклита); трепеты развивались, как... крылья: думаю я, что «крылья» — подобия пульсов; окрыленный, трепещущий рост — существо человека; ангелоподобно оно; и мы

все — крылоноги; и мы — крылоруки. Конечности — отложения крыльев. Мои первые детские трепеты удивляют меня; удивляет все: что оно таково, каково оно есть; почему оно не текуче? Взмахни трепетом, как крылом,— перестроится все: будет тем, да не тем; а оно — не меняется (и впоследствии, уж привыкнув к действительности, все боялся я, что она утечет от меня и что буду я — без действительности: вне действительности разовью миры бреда...). Ощущение уж меня не терзает: не кажется мерзостью; если ж все утечет, ощущение разовьет — во все стороны свои крылья: и я стану вращаться, терзаясь пустотами, тысячекрылый, напоминающий изображения сиамских богов, колесящих в неправде.

Про меня говорили:

— «Какой нервный мальчик...»

. . . .

С трепетов, думаю, открывались мистерии: мистерией началась моя жизнь; и эта мистерия — рост; круги нарастанья — наросты — есть жизнь моя; первый нарост роста — образ.

Жизнь моя началась в безо̀бразии: и продолжилась — в образы.

ГЛАВА ВТОРАЯ

НЯНЮШКА АЛЕКСАНДРА

Все это уж было когда-то,
Но только не помню когда...
Гр. А. Толстой

ПАПА

Я стал жить в пребывании, в ставшем (как я ранее жил в становлении); в нем держу нить событий; не все еще стало мне; многое установится на мгновение; и потом — утечет.

Так становится мне тетя Дотя; становится папа; установится; и уже — протечет: станет паром. Папа водится редко; он в отсутствии представляется мне огнеротым каким-то —

— краснокудрые пламена, огнерод, вылетают из уст; бородатый, крылатый летает на ясных размахах; иногда приколотится он красным миром своим к Косяковскому дому, в котором мы

жили; и смотрит с Арбата в оконные стекла багровым закатом; разразится огромным звонком к нам во входную дверь: из Университета влетает в квартиру —

— (Университет — универс!) —

— громорогие самороды грохочут нам в комнаты; воспламятся все печи; а папа гремит за стеною (я впоследствии познакомился с греческой мифологией; и свое понимание папы определил: он — Гефест; в кабинете своем, надев на нос очки, он кует там огни — сребриструйные молньи из стали, которые, наподобье складного аршина, он сложит и спрячет в портфель, чтобы их утащить в Универс — и отдать их Зевесу: университетскому ректору, Пудостопову).

Он уже вот в огромных калошах, в огромной енотовой шубе, по коридору бежит прямо во входную дверь, чтоб оттуда, раскрыв свою шубу, низвергнуться в космос (там, за входною дверью,— обрыв: над головой, под ногами и прямо, где после возникла стена, дверь и входная карточка с надписью «Христофор Христофорович Помпул»,— темнеет звездистое небо); и папа несется по небу— громадной кометой, по направлению к той дальней звезде, которую называют «Университет», уносится на пространствах: газообразно раскинутым, повисающим, нам грозящим хвостом; там — летают видения; там встречается папа с моею старухой: ее называют Натальей Ивановной Малиновскою, крестной мамою; там, в двери, остается папина шуба, большая, пустая; папа мчится в иные вселенные: —

— в Университет,
— в Совет,
— в Клуб...

Их названья — «планеты»; говорит он и дышит он — там.

. . . .

Так летят сребропевные облака на громах и на мольньях.

РОЙ — СТРОЙ

Первые мои миги — рои; и — «рой, рой,— все роится» — первая моя философия; в роях я роился; колеса описывал — после: уже со старухою; колесо и шар — первые формы: строенности в рое.

Они — повторяются; они — проходят сквозь жизнь: блещет колесами фейерверк; пролетки летят на колесах; колесо фортуны с двумя крылышками перекатывается в облаках; и — колесит карусель. И то же — с шарами: они торчат из аптеки; на Каланче взлетел шар; деревянный шар с грохотом разбивает отряд желтых кегель; наконец, приносят и мне — красный газовый шарик — с Арбата, как вечную память о том, что и я — шары сваивал.

Сроённое стало мне строем: колеся, в роях выколесил я дыру, с ее границей,—

— трубою,—

— по которой я бегал.

Трубы, печи, отдушины, то есть дыры, есть мир.

Вспыхивал печной рот раскаленным оскалом; или — жевал он золу; черные дыры отдушин душили угарами; в трубу — вылетали.

Мама моя с ударением твердила:

— «Ежешохинский...»

— «Что такое?»

— «В трубу вылетел».

Это и подтвердил чей-то голос:

— «Ежешехинский идет сквозь огонь и медные трубы».

Размышления о несчастиях Ежешехинского, забродившего в трубах и бродящего там доселе,— были первым размышлением о превратности судеб.

В размышлениях этих одолевала память о старом: и я ходил в трубах, пока оттуда не выполз я — в строй наших комнат через отверстие печки из-за золы, из-за черного перехода трубы; туда уползают и оттуда выпалзывают: в стрóи стен и в строй пережитий.

Правилом пережитий мне встала тут — нянюшка Александра непосредственно у дыры, у трубы; и — строй наших комнат.

ТРУБОЧИСТ

Невыразимое чувство меня охватило, когда —

— из-за угла коридора просунулась жиловатая голова трубочиста и добродушно осклабилась белыми своими зубами; глаза мне сказали: —

— «Да, да, да — вот.

— «Мы знаем, что знаем...

— «Но об этом — молчок...
— «Ни-ни-ни...»

И трубочист наклонился к отверстию печки: что-то свое там таить, вспоминать...

. . . .

Думалось: может быть, это он, перегибаясь по трубам, меня выхватил из дыры; и — пронес над огнем...—

— Как он бродит над трубами и опускает в отверстие длинную веревку на гире: согнутый, озоленный — посиживает: в гарях, в копотях — у перегиба трубы, в темном ходе, спасая оттуда младенцев и после выползывая из печей, где ему, как ужу, ставят на блюдечке молоко; и — трубочист представляется мне змееногим: извивается в комнатах; тихо пестует мальчиков.

. . . .

Поражался я отвагою трубочиста: любил трубочиста. И, зная, что —

— Ежешехинский впал в трубу, там заползал, как червь, и из трубы по ночам подвывает, я думал: —

— «Как его там найти?»

Послать трубочиста.

. . . .

Видывал трубочиста я после: в окошке... Как он там,— на трубе, далéко-далекó, выдается изогнутым контуром; солнце блещет слепительно; снег на крыше — глазастый алмазник; присвистнет метелица; и — взлетят снегометы: снегометы бело и неяро летят переносными стаями; легколистая снегопись серебреет на окнах.

ТЕТЯ ДОТЯ

Тетя Дотя с т а н о в и т с я — тоже, появляясь сперва в зеркалах дальней комнаты; и в величавом спокойствии медленно оплотневает; оплотневшая ходит среди нас: с выбивалкой в руке.

Оплотневшая тетя Дотя становится: Евдокией Егоровной; она — как бы Вечность.

Евдокия Егоровна, Вечность, сочувственно посещает меня, обнимает меня своим бледным лицом — без единой кровинки; тетя Дотя — растрóена: растроенà в зеркалах; в том и этом; обнимая меня, указует на зеркало; там — она; и еще кто-то там: зеленоватый, далекий и маленький,

в бледно-каштановых локонах; а тетя Дотя мне шепчет:
— «Чужие...»

Становится все очень странно, а тетя Дотя садится к огромному, черному ящику; открывает в нем крышку; и одним пальцем стучит мелодично по белому, звонкому ряду холодноватеньких палочек —

— «То-то» —

— что-то те-ти-до-ти-по...

. . . .

Мне впоследствии тетя Дотя является: преломлением звукохода; тетя Дотя мне: мелодический звукоход; а все прочие ходы суть грохоты; и особенно папин ход: грохоход — папаход...

Тетя Дотя — минорная гамма; или — строй торчащих чехлов; и кресло в чехле — называю «Егоровной» я; и мне каждое кресло — «Егоровна»; строй «Егоровен» — Вечность... Он ряд повторений: э-моль; и тетя — Дотя — э-моль: повторение одного и того же. Тетя Дотя — как гамма, как тиканье, как падение капелек в рукомойнике, как за окнами строй солдат без офицера и знамени; ее назвал «дурной бесконечностью» знаменитейший Гегель.

НЯНЮШКА АЛЕКСАНДРА

Непротканное звездами бледное небо, дневное — за окнами смотрит; непроглядная тень на полу: это нянюшка Александра со мной.

Точней — воздух нянюшки: вселенная, продышавшая многим; и — прогнанная; ее прогнали: я плакал.

Все было в нянюшке правильно нам: и внедырно, и комнатно (она дозирала за дырами: трубочист — ее кум); я, бывало, ее теребил; я просил ее: мне позвать трубочиста; нянюшка мне молчала: ни слова. И голоса я не помню ее; да и нрава не помню, но —

— дозирающий облик из теней, углов и простенков, в тускловатой мгле серых стен передо мною встает, как реликвия древности...

. . . .

Смутно помнится: —

— что букетиками васильковых обой — передо мной встали стены и что тарелочка с ман-

ной кашкой откушана мною; и — перемазан я весь (нянюшка на меня заворчала: меня подтирает). Мне немного грустно и пусто; вот он — кованый, жестяной сундучок; около него, под часами, в пунцово-сером платье сидит она —

— с изможденным, пожелклым, изборожденным лицом; и — с желтыми скулами; я валюсь на подушки, потому что я —

— недоволен; мне говорили потом, что в это время был болен я, что меня мучил жар; жара нет; и — события нет; то есть нет ничего уже; а... кашка... откушана... мною; я кушал — в будни; откушал: и — те же все будни; мне хочется плакать; в тиканьях перемогается время: уж сумерки.

Нянюшка на меня посмотрела; и забегали над чулком вязальные, ясные спицы —

— Манная кашка меня обманула; тяготится желудочек и нападают сонливости; я простираюсь за помощью; нянюшка склонилась ко мне; вместо ее головы —

— над воротом пунцового платья, без колпака, торча, меня лижет, мне блещет и синеньким огонечком моргает мне, дышит отверстием: ламповое стекло! —

— А нянюшка с ясными, вязальными спицами — только смотрит!

ПРОГУЛКА

Нянюшка Александра и я пробираемся по коридору — из детской: в коридорной печи — залетали огни; красно-палое пламя показало нам палец; мы проходим в столовую: на летящих спиралях с обой онемели давно лепестки белых лилий легкотенным изливом: проходим в гостиную: она — в красных креслах; на стенах из огромных гирлянд багрянеют, грозясь: кисти красные роз заревыми роями; мы — на кухню: шепоты, шумы, шипы, огни, пары, гари; там на кухне стоит, там на кухне бурлит — дымно-шипный котел; и огонь бьет в котел, прободая железную вейку; ломти мягкого мяса малиновеют на столике; кровоусая кошечка с красным куском в зубах — уж косится; и — морковина сочно трется о терку...—

— Афросинья, замахиваясь рукой над огнем, описывает кочергою дугу, вся в

отсветах кудрявого пламени, вылезающего на нее из печи легкой гривой; в печке — красная ярая морда оскалилась углями; —

— и мне кажется: —

— Афросинья там борется с гадом, приползающим к черному отверстию печки; будет — будет нам гибель: кричу; и выводят меня в коридор.

. . . .

Нянюшка Александра и я пробираемся по коридору — из кухни; я — прижался к подолу; за нами бродят по стенам огромные великаны; то — тени; съеживаясь, переменяясь, метаются; а коридор — бесконечен; странно мне это шествие — нянюшки Александры, меня — по коридору и комнатам опустевшей квартиры в сопровожденьи двух спутников, теней, немых и бесшумных; настроение это мне переживалось впоследствии, при созерцанье рисунка, изображавшего шествие по храмовым коридорам ведомого пленника в сопровождении птицеголового мужчины с жезлом.

Я впоследствии мальчиком ждал: вот откроется дверь; и — войдет: птицеголовый мужчина; и родимый клекот его огласит мою детскую.

ОБМОРОК

Наши комнаты: коридор, кабинет, кухня; и — далее, далее; но — еще есть комнаты; их убрали; и их расставляют, как ширмы; только выйдем мы с няней из коридора на кухню, как уже в столовую быстро ворвутся губастые черные рожи — арапы: и — раздвигают все кресла; на опростанном месте они учреждают «вертеп»: и — обставляют вертеп: кумачами; и папа в парчовом халате, в короне и с шаром в руке, появляется сам восседать в золоченом там кресле; и — мама становится дамой; и — ходит за папой; подают пузатую чашу и открывают паркеты; и опускают туда: под паркеты; под паркетами — синеродные воды играют струею; под паркетами плывет водовоз, попирая ногами бубновую бочку; и быстроливным ведром наливает в пузатую чашу: сестренок; папа с мамой танцуют кадриль, а сестренки их просят: «Отдайте нас Котику!»

По ночам иногда я не сплю: и в столовой мне слышатся стуки: танцуют кадрили — в «вертепе»; утром встает с золоченого кресла мой папа; и запирает сестренок моих

в крепкий шкап; и дама становится мамой: проходит за папой; «вертеп» разбирают арапы; я ищу его...

Где он, где?..

. . . .

Тоже вот: —

— будет, будет нам гибель: попадают плитки паркетов — в миры новых комнат!..

В ожидании катастрофы я жил; она и случилась однажды: —

— мы, паркетные плитки и я, — мы попадали в обморок (это было во сне); падать в обморок с той поры означало: падать в чужую квартиру, под нами, где доктор Пфеффер проказникам дергает зубы и откуда грозится нам чернобровая девка, Ардаша: «Проказничать больше нельзя...»

Помню я этот сон: —

— выбегаю в столовую я, а за мной моя нянюшка с криками: «Обморок...» И этот обморок вижу я: он — дыра в лакированном нашем паркете; и я вижу в дыре: там — гостиная; она — в красных креслах, как наша; на стенах из огромных гирлянд багрянеют, грозясь: кисти красные роз заревыми роями; я туда падаю; шепоты, шумы, шипы, огни, пары, гари влетают в открытую дверь; и появляется сам доктор Пфеффер в короне; и чернобровая девка Ардаша становится дамою; и доктор Пфеффер кричит из отверстия усатого-бородатого рта:

— «Я твой папа».

А чернобровая девка, Ардаша, стреляет глазами:

— «Я — мама».

. . . .

Метафоры понимаю я точно: упал в обморок — значит: упал, куда падают; а ведь падают — вниз; внизу — пол; под полом доктор Пфеффер проказникам дергает зубы; и — попадают к нему.

. . . .

Ощущение зыбкости стен и таимого мира под ними объяснимо, по-моему, крепнущим порогом сознания, беспрепятственно простертого прежде в бессознательный мир, где я, запорожец, сшибался со всяким татарином, — в сублиминальное поле, усеянное костями:

«О поле, поле, кто тебя
«Усеял мертвыми костями?»

Эти кости — порог, а блуждание сознания по костям прежде павших существ — стены комнат: сознания в на-

шем смысле; но раздвигаемы кости; мне порог сознанья стоит передвигаемым, проницаемым, открываемым, как половицы паркета, где самый обморок, то есть мир открытой квартиры, в опытах младенческой памяти наделяет наследством, не применяемым ни к чему, а потому и забытым впоследствии (оживающим, как память о памяти!) в упражнении новых опытов, где древние опыты в новых условиях жизни начинают старушиться вне меня и меня — тысячелетнего старика — превращают в младенца: то, что я — маленький, случайное несчастие, что ли: не истина, а — социальное положение среди более, чем я, позабывших и именуемых — взрослыми; мне, младенцу (старику ненашего мира), они объясняют игрушки; и объяснение их игрушек перетягивает внимание от во мне живущего мира — к играм, затеянным вне меня; и — создается порог.—

— Я его помню открытым.

ДРЕВНЯЯ ТАЙНА

На лакированной поверхности шкапчика линии деревянных волокон сбежались: —

— темнородным пятном перепиленных суков —

— как бы в две фигуры, склоненные смутными ликами из разлетевшихся складок — друг к другу: что-то поведать друг другу —

— таить, молчать, вспоминать: какую-то древнюю правду, которой касаться нельзя:

— «Ни-ни-ни!» —

— которую вспоминаешь ты, так же вот, поклоняясь без шепота: образы посвященных переживались мной впоследствии так, как полное тайны склонение покровенных фигурок на шкапчике... из разлетевшихся складок; и — образы склоненных волхвов в великолепных коронах над ясным Дитятей: в киоте; и моргает киот самоцветным рубином; и от рубина потянутся красные, ясные лучики; один волхв — трубочист: черен ликом и красен губами; и красные губы раскрылись, как будто поет он; и мне говорят про волхва, что он — Мавр —

— на лакированном шкапчике линии деревянных волокон сбежались к двум

пятнам: перепиленных суков; и эти пятна — не пятна, а **мавры**, то есть, темные богомольные лица: волхвов.

. . . .

Невыразимое чувство: —

— я его впоследствии узнавал, неоткрытым в своей остроте, но мне глухо-звучащим под образами и событиями жизни — в произведеньях искусства, в грохоте городов, между двух подъездных дверей; более всего — на ребре Хеопсовой пирамиды, в час тихий вечера, когда солнце Египта зловеще отускневало в подпирамидной пыли; и — плавали золото-карие сумерки; плавали главы пальм, занесенных песчаною пылью; и — будто бесствольных; чернея с громадных ступеней, феллах подымал на меня одиноко гортанный свой голос...—

— Много раз приходило ко мне мое странное чувство...

. . . .

По утрам из кроватки, бывало, смотрю: на узоры стоящего шкапчика; я умею скашивать глазки (смотреть себе в носик); узоры, бывало, снимаются с мест: прилипают мне к носику линии деревянных волокон двумя темнородными пятнами перепиленных суков; и мне кажется: две фигуры склонились своими неясными ликами, как два Мавра,— из разлетевшихся складок: над маленьким мальчиком; пальчиком трогаю их; но легко и воздушно сквозь лики проходит мой пальчик; моргну —

— и темнородные пятна перелетают на шкапчик...

. . . .

Среди дня я на них посмотрю — тысячелетием древнего мира мне немо склонились фигурки; и мне кажется, что у меня за спиною — не стены, а такие же точно миры, как на маленьком лакированном шкапчике: волокнисто-темнеющие, золото-карие, где все плавают сумерки меж бесствольными кущами; и чернея оттуда, зовет **он** (а кто — я не знаю); и — одиноко подымет гортанный свой голос —

— повертываюсь: —

— вместо золото-карего мира — стена: этажерочка (та же!) стоит себе; и на ней — строй солдат; оловянные гренадеры мои серебрятся мне лицами... Сидит моя нянюшка.

. . . .

Среди ночи, бывало, лежу; и повешено мне на стенке

окошко; там — стылая ясность вечернего неба; и стылая ясность вечернего неба дрожит; и —

— самоцветная звездочка —

— мне летит на постель; и — уколется усиком; я потру кулачком свои глазки: и возникнет в закрытых глазах моих центр; и — исходят из центра мне трепеты молний; а центр раздвигается: строятся светлые комнаты; из центра несутся: центр ширится — раздвигается в синий глаз: синий глаз — добрый глаз; но... я глазки открою: —

— и вижу: —

— нянюшка моя под киотом; кладет там поклоны; и красным рубином моргает протканная риза; и — Мавр протянул свои руки: над ясным дитятей разводит ладонями — из разлетевшихся складок.

. . . .

Я впоследствии взрослым смотрел с ожиданием на лакированный шкапчик: две фигуры, склоненные смутными ликами, там слагались по-прежнему; и — ничего не могли мне поведать; пересчитывал я деревянные волоконца под лаком; и рассматривал темнородные пятна перепиленных суков.

ЦЕРКОВЬ

Спины, склоны, поклоны —

— как полное тайны сложение деревянных фигурок на шкапчике...—

И за спинами — голоса: —

— подъемлют какую-то огромную, но позабытую истину: древнюю; мне когда-то открытую в храме (когда это было?).

Громкий зов я забыл: забыл солнцевый голос!

И — вот он раздался: —

— дергаю бабушку за края ватерпруфа и собираюсь расплакаться...

Но меня приподняли (и — мне узреть!): —

— блистающее, как золотое светило небесное, чернобородое божество там стояло перед распахнутой дверью — в т а и м у ю к о м н а т у блесков; и, подымая высоко десницу, с блистательной лентою, провозгласило: голосом, от которого чуть не лопнули стены... —

— блеско-громное, огромное Солнце, на котором я жил, опустилось на нас: провозглашенным глаголом — провозглашенным единственный раз, потому что мир не способен вторично услышать гласимого: он, наверно, провалится... там — в сияющей синеватости дымов вставали светящие: блага и ценности... неописуемых, непонятнейших форм; там, оттуда,— на миг показалась та самая Древность в сединах; и пышные руки свои развела: из Золотого Горба; и казалося мне, что стоял перед нами: Золотой Треугольник; две руки, как лучи, протянулись направо-налево от белого лика: белый лик, точно око, глядел в золотом треугольнике; и — миры миров там чинились: под багряной завесою; человекоглавое серебро из руки затепляло звезду; золотою планетою дориносилася Книга... к престолу, сквозь разрывы завесы; но таинница строгих дел там закрылась; и —

— красные,

кудлатые люди в огне, по бокам, как загаркали в ужасе!..—

— Тут меня опустили под спины, но еще долго мне слышались какие-то багровые ревы; серебрились и синились дишканты: точно четыре животных подхватили провозглашенные вопли; и катали их... по мирам; из подкинутой чашечки на серебряной цепи вылетали душистые клубы... над спинами; как крылами, громами бил храм; и в глаголы облекся, как в светы...

. . . .

Очень скоро за узренным раздаются глаголы и мне: об ангелах, рае и... Боженьке; окончательно выясняется мне, что таимая комната — Церковь, где староста Светославский обходит с тарелочкой; в Золотом Горбе, у престола подъемлющий руки, есть «батюшка», или — священник; когда он без парчи, то он — «поп»...

Поп, попы, попадья, просфора, просвирня — слова, которые меня просветили; главным образом — бабушка; тут она знала толк; я ее считал — подпросвирнею; бывало — она перекрестит; бывало — подсунет мне в ручку пузатенький хлебик: «просвирку»; поминаньице —

— лиловая книжечка —

— все, бывало, с ней рядом; и даже она понесет поминаньице, лиловую книжечку, с просфорой на поднос: и ее унесут: в миры

блеска; и даже, бывало, пошутит она с попадьею; и — даже! — пройдет с крестным ходом: за ним, з а с а м и м,— за Иоанникием, Митрополитом Коломенским и Московским.

. . . .

Мне дорога жизни протянута: через печную трубу, коридор, через строй наших комнат — в Троице-Арбатскую Церковь, где наш староста, Светославский, обходит с тарелочкой...

СТРОГИЕ СТРОИ

Все, возникающее из-за коврика, было мне не на пользу; там, оттуда — шли поступи; и галопада времен приближалась; она разбивалась о правило: о мой завет с нянюшкой —

— мне жить по закону; и — в правиле: около угла, сундучка, при часах; слушать тихое тиканье; то есть: жить в строгих стро́ях; не перетягивать цепочки за гирю; не останавливать тиканье; не искать новых комнат; галопируя, не забегать в коридор; и не щелкать под креслами; не залезать под подол; и пушистую кисиньку не таскать за приподнятый хвостик; главное — чтобы бабушка не сломалась, как сломалась однажды она, как недавно мной сломанный слоник: —

— как она к нам подсела; и подзывала меня: ее тиснуть; ну,— я ее тиснул; она же сказала: «Сломаюсь». Я тиснул еще ее; и — сломал; хохотали все: папа, мама и няня; но я... сломал бабушку!..—

— словом, мне быть: не шалить; проживать формалистом; и даже... буддистом.

Что-то и доселе живет во мне в фуге Баха и в белой дорической колоннаде от моего мира с нянюшкой; и от вечного тети-дотина мира.

В более позднем младенчестве этот мир строгих строев (строевая служба моя) представляется мне миром зданий, гамм, руляд, крамеровских этюдов и Ч е р н и (экзерсисы Ч е р н и вы помните?); особенно: государственных учреждений, массивных и каменных, без орнаментной лепки, но с колоннадою: николаевских серых и бело-желтых казарм, александровских и мариинских институтов, гуляющих парами, в пелеринках, больниц, богаделен; и даже — пожалуй — мне розовый Вдовий Дом напоминал этот мир (не-

подалеку от Пресненской части, где выскакивал бородатый-рогатый козел и, бодаясь-брыкаясь, летел впереди вестового, предшествуя «Части»; и где бродил он степенно от Пресни и до... Горбатого Моста); все богаделенки — няни; вдовы же, то есть старые девы (что то же), представляются мне до сих пор... интересами Веры Сергеевны Лавровой: —

— Вера Сергеевна Лаврова — знакомая тети Доти, пахла прелыми яблоками; и загадывала на... Бабашкина; выходило всегда, что Бабашкину предстоят интересы; исполнение интересов — четыре десятки — ложилось не редко...

. . . .

Этот строй мне знаком; противопоставлен он рою; строй оковывал рой; строй — твердыня в бесстроице; все остальное — течет, как, например... дети Ветвиковы: притекают откуда-то к нам — колесить и дразнить.

Все это на меня налетит, обестолковит и схлынет. И останется тихий мой мир; и в нем — я, надо всем —

— стрекотание спиц из простенка и темные орбиты нянюшки Александры: из-под белого чепчика.

ФУНДАМЕНТАЛИКОВ-ЧЕМОДАНИКОВ

Фундаменталиков-Чемодаников, ученик ремесленной школы,— этот был безобразник; на металлический сундучок приходил он посиживать из угла коридора; и разговаривал с нянюшкой о ремесленной школе; о воспитанниках этой школы; и о том,— сколько их...

Мне казалось, что они грохотали у нас по ночам; в лабиринте из комнат с толпами — вот таких же точно, как и они, безобразников; это были дикие племена, населявшие миры дальних комнат; я с волнением взирал на сидящего безобразника, учиняющего в ночных переходах ужасные нападения на детей; (с Фундаменталиковыми-Чемодаликовыми грозно бьются в огнях трубочисты; отражая их черные полчища, нам грозящие и угаром и сажами).

Папа его отчитал:

— «Знаете: вы — молодой человек...

— «Ученик ремесленной школы...

— «И — ай, ай — что вы сделали!

— «За такие поступки вам, сударь мой, в нос проденут кольцо: и — потащат по улицам с городовыми...»

Мне все думалось после: Фундаменталиков-Чемодаников —

— ай, ай, ай! —

— поступил, то есть позволил себе своевольно тяжелую поступь: нарочно гремел по паркету; мне открылось тогда: кто нарочно гремит по паркету, тот свершает поступок; за поступок же — всякий! — огромных размеров кольцо продевается в нос; и тут вспомнилось мне, что поступил еще хуже я: щелкнул во мрак пустых комнат; оттого-то и прибегал Дорионов: мне продеть в нос кольцо; и — утащить за собою...

. . . .

И уже значительно позже: —

— видя черные рожи индейцев с продетыми в носу кольцами, понимал я отчетливо: все они — безобразники: с тяжелою поступью: Фундаменталиковы-Чемоданиковы.

ПАЯЦ-ПЕТРУШКА

Курий крик —

— Крр-кр! —

— каверзник: растрещался трещоткой; он —

— грудогорбая, злая, пестрая, полосатая финтифлюшка-петрушка: в редкостях, в едкостях, в шустростях, в юростях, востреньким, мертвеньким, дохленьким носиком, колпачишкой и щеткою в руке-раскоряке колотится что есть мочи без толку и проку на балаганном углу —

— Крр-крр-кр! —

— высоко!

Я —

— подтянутый,
схваченный,
вскинутый! —

— с изумлением, строгостью и безо всякого наслаждения рассматриваю вредоносное, вострое, пестрое и очень злое созданьице, как дозирают тарантулов в опрокинутой банке: как бы не выскочил укусить; и —

— Кррр-крр-кр! —

— разрезает картавенький голо-

сок как точеными ножницами: подчирикнул, подпрыгнул, подпрыгнул и нет его — на балаганном углу; падают лишь снежинки на носик.

Тут ударили в бубны.

Меня же, дрожащего, покрытого смертной испариной, продолжают —

— подтягивать,
схватывать,
вскидывать! —

— тащут за руки, без всякого милосердия: под полотно балагана, где кипят и пучатся бубны — под полотном балагана! Мы спешим в кровавые кумачи, в мимотекущие ураганы и старые-старые ярости, где нас всех прищемят, растиснут, раскрошат, завертят, закрутят, зажарят и... сбросят —

— в пропасти колесящих карбункулов! —

— Вот уже кровавые кумачи с курьим криком Петрушек, из которого вдруг выхватывается на нас, обдавая нас пламенами, мелолицый колпачник и что есть мочи замахивается своей медной тарелочкой. Мне говорят:

— Вот — паяц! —

— но на бывалое безобразие отвечаю я криком!

ФИЛОСОФ

В это время себя вспоминаю философом я: —

— ползая под столом, под подолом, под стулом — при нянюшке! — я не просто ползал, а — так сказать — с ударением, как подобает ползать дельцу, побывавшему во всех передрягах; и — колесившему по пустотам; ползал я — в настоящем: без всяких видов на будущее — без проэктов, без планов; и — конечно же! — без надежд (обманула манная кашка!)...; с достоинством отдаюсь я огромным рукам; и меня, как царя, уж сажают в высокое креслице, откуда взираю я на текущие события мира с философским спокойствием: —

— стародавний орфист; я проник в мир мистерий; и о мирах изначальной змеи, вспоминая свою коридорную бытность, кое-что рассказать бы я мог!

мне в младенческих ужасах открывались миры древних гадов, и гад дядя Вася стоял во главе их...

— Я — боролся со Львом...

— Старый Гераклитианец — я видывал метаморфозы вселенной в пламенных ураганах текущего; и я знал очень твердо; что сегодня — нянина голова, то когда-нибудь — отверстие лампы; (няни нет уже — утекла: я не помню, когда это было; но знаю — прогнали мою молчаливую нянюшку).

— Папа бьет нам вулканом; и — наполняет все комнаты керосиновой копотью, в копоти бросается трубочист меня выхватить из пожара; передает меня нянюшке; нянюшка строем дорических стен отражает огонь; и — отражает нам полчища «корибантов»: Фундаменталиков-Чемоданников; доктор Пфеффер, паяц — нападают на нас; мир хтонических культов пронизан струей аполлонова света; и возникает трагедия: воспоминаний о нянюшке...

. . . .

Анаксимандр, Фалес, Гераклит, Эмпедокл пробегают по нашей квартире на чувственных знаках:

Говорю:

— «Рой, рой — все роится».

Фалес меня учит:

— «Все полно богов, демонов, душ...»

Передо мною — огни: в страшный мир колесящих карбункулов распадается мне темнота; метаморфозы охватывают; а — Гераклит мне твердит:

— «Все — течет».

С Анаксимандром мы ведаем беспредельности; Эмпедокл бросается в Этну; я — падаю в обморок.

В эту давнюю пору разыграна и разучена мною: вся история греческой философии до Сократа; и я ее отвергаю.

Перечитывая «Историю греческой философии»:

— «Нечего ее изучать: надо вспомнить — в себе».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

БЛЕСКИ НАД БЛЕСКАМИ

И этих грез в мировом дуновеньи
Как дым несусь я, и таю невольно,
И в этом прозреньи и в этом забвеньи
Легко мне жить и дышать мне не больно.

А. Фет

КОТИК ЛЕТАЕВ

Мне четыре года; родился я вечером: около девяти; вскричал — ровно в девять; над моим появленьем на свет постарался — лейб-медик: профессор Макеев; тут же его я обидел: —

— он, взявши на руки, меня хотел приласкать, а я... я... я...: словом — он побежал к рукомойнику...

Я его видывал после, на улице; маленький старичок, положивши на плед свои руки, пролетит в коляске, бывало; и седою головкой — направо-налево-направо; наушники шапки болтаются; и — удивляется улицам; детские голубые глаза на меня уставятся — нет их; думаю: вот — профессор Макеев, лейб-медик, когда-то старался, чтоб мне его видеть; кабы не он, мне бы его не увидеть; я его узнаю; а он — нет.

Говорили мне: при моем появленье на свет свой огромный том мне прислал академик Грот с своей надписью; не видал этой книги я, но всегда ей гордился.

Очень я любил повторять со слов мамы, что, когда меня подносили к окну, я увидел вспыхнувший газ в колониальном магазине Выгодчикова,— разволновался, затрясся и торжественно произнес — свое первое слово:

— «Огонь...»

Это — помнил я твердо.

Я ходил — тихий мальчик,— обвисший кудрями: в пунсовеньком платьице; капризничал очень мало; а разговаривать не умел; слушал речи других, склоняясь над сломанным слоником; и, отвечая на ласки, я терся головкой о плечи; прогнанный, отходил в уголок, чтобы оттуда мне медленно подбираться к коленям: поспать на коленях.

Или я смирно садился на креслице: мне подумать на креслице; свои руки сложив в ручках креслица,— думал на креслице:

— «Почему это так: вот я — я; и вот — Котик Летаев...

Кто же я? Котик Летаев?.. А — я? Как же так? И почему это так, что —

— я — я?..»

Из-под бледно-каштановых локонов, падающих на глаза и на плечи, я из сумерек поглядывал: в зеркала.

И становилось так странно...

. . . .

ДЕНЬ КОТИКА ЛЕТАЕВА

Из кроватки смотрю: на букетцы обой; я умею скашивать глазки; и стены, бывало, снимаются: перелетают на носик; легко и воздушно сквозь стены проходит мой пальчик; ах, туда бы головку; но — непроглядные стены! — моргну: перелетают на место.

Раиса Ивановна, бонна, встает из постели; одеяло откинет; и голыми ножками — в пол; подбежит босиком в белой теплой рубашке: вынимать меня из постельки, одевать чулочки и лифчик, и мне — улыбнется.

Девять часов; а не то — половина десятого; и Раиса Ивановна в ясненькой красненькой кофточке разливает чай (мама спит: она встанет к двенадцати); самовар трещит: и самосыпные искры летят нам на скатерть; носик мой упирается в край стола; и захрустел на зубах край поджаренной булочки; папа — в форменном фраке: кудролобый, очкастый; захлебнул чай усами; светлоливная капелька капнула с его мокрых усов в синий бархатный отворот его синего чистого фрака; фалды фрака, качаются; двуглавые золотые орлы золотых его пуговиц — строжайше расставили крылья.

Папа едет на лекции: лекции — линии листиков; многолетие прожелтело их; листики сшиты в тетрадку; по линиям листиков — лекций! — летает взгляд папочки; линии лекций — значки: круглорогий, прочерченный икс хорошо мне известен; он — с зетиком, с игреком.

Папа водит по ним большим носом; и, щелкая крепким крахмалом, бормочет:

— «Так-с, так-с!»

И получается: «Такс».

Иксики напоминают мне таксиков: напоминают собачек; таксики (думал я) вырастают из этих крючочков; их встречал на бульваре я уже значительно позже, весною; продувные, нелистые дерева желтоглазились почками;

бульвар лился людом; и на пологие лобики песиков я укладывал ручки.

Самовара нет. Папы — нет.

. . . .

За окнами все-то крыши: и удивленные горизонты — раздвинуты, пусты.

Наша гостиная —

— уставлена красными креслами; с подоконников подымают печальные пальмы свои линии листьев; злые, зеленые зеркала — в ясном золоте рам: и Раиса Ивановна передается из зеркала в зеркало; и все — валится, не падая, набок; а пол — скачет вверх. И Раиса Ивановна принимается меня обнимать; и — зеркалами пугать; и — все валится, не падая, набок, а пол — скачет вверх...

. . . .

Наша столовая, как денница, вся белая: —

— на летящих спиралях с обой онемели давно: лепестки белых лилий легкотенным изливом; у обой гнули стулья ломкие полукруги сидений; из обой просунулась круглота: деревянная голова; стрекотала строгими стрелками на циферблатном оскале; кружевные гардины, как веки, тишайше белели под окнами; дубостопный желтый буфет — он один будоражился; и, бряцая посудой, кидался — на прохожих у двери.

После ночи, бывало, войду, посмотрю; и окнами, как глазами, посмотрят одни бледноглазые стены; и бледноглазая ясность покроет покоем.

Наша столовая — утренница; а —

— темно в коридоре: в коридорной печи залетали огни; чернорогая женщина меня ждет в коридоре.

Тонкою нитью прояснилось многокружие паутины; и —

— Раиса Ивановна, —

— милая! —

— глядя искоса на меня, наклонилась кудрявой головкой к своим красным тряпкам, перекусивши зубками нитку; протягивается иголка; и —

— «Was ist das?»

— «Das ist...» —

— мне не помнится слово.

Мои кубики порассыпались; и — головкой — в колени; ручка в ручку; и — ничего; мы — пройдем... коридором...

Черногогая женщина, может быть, забодает нам — маму....

. . . .

Мама проснулась — зовет нас: —

— меня берет на постель; треплет кудри; и я — перед ней кувыркаюсь:

— «Котик, маленький...»

Альмочка кувыркается тоже: и уже бьет двенадцать часов; пора маме вставать: уж на кухне стоит дымно-шипный котел; и огонь бьет в котел, прободая железную вейку; там — в железной печи,— окаляет поленья: красногогий огонь из трескучих печей поедает поленья. Побегу в кухню я — шепоты, шумы, шипы, огни, пары, чады.

. . . .

После завтрака —

Наш веселый кузен Веревитинов с дымнокудрой сигарой в руках все-то щелкает пальцем на Альмочку, которая поедает щеняток, и Раисе Ивановне нежно посмотрит он в глазки: в агаты; из кудрокрылого личика мамочка бирюзеет глазами на нас и капризно качается на качалке в своей красной косыночке, поджидая к себе Поликсену Борисовну Блещенскую в великолепной карете: кататься; и бледная ленточка с ясным бубенчиком гремит в ее пальцах: это — лиловая ленточка; бубенчик — серебряный; Миловзориков перевязал ею мамину руку.

Миловзориков — светлогрудый гусар; и это все — «котильон».

Поликсена Борисовна позвонилась: мамочка привскочила с качалки и протянула мне ручки; я зарылся головкой в коленях: пеньюар разлетается от нее самокрылыми змеями.

Кучер — с лазурной подушкой на голове: прирос толстым задом; вороные кони хрипят, жуют мыльные удила — с угла Арбата: ждут мамочку; это вижу я из окна: из серебряных листьев мороза; мамочка, в коричневом казакине и в брошке, надела ротонду; она — к Блещенским на весь день; и вечером — в бенуар.

Нам пора на прогулку.

. . . .

Тут с меня снимут туфельки; и проденут ножку чулочком — в меховой сапожок; и принимается кто-нибудь, сапожок уперши в колени, крючочком щипать мою ножку.

Каждый день мы идем: на Пречистенский бульвар погулять (на Смоленский бульвар мы не ходим: там дурно воспитаны дети); кто-нибудь ходит там; и вдруг сядет на лавочку; на меня поглядит; и — значительно посылает улыбки; все они улыбаются мне; все они уже знают, что Котик Летаев гуляет; хлопает крыльями чернокрылый каркун, и вислоухая шуба сутулится в снеге; снегосыпное дерево вздрогнуло; а уж кто-нибудь, вставши —

— медленно уходит туда: в крылоногие ветерки; обернется, кивает...

А уже набежали на нас: крылоногие ветерки; веют белые веи на разгасившихся щечках; дымит куча снега; песик к ней подбежал и над нею он поднял: мохнатую ногу; я бросаюсь к лимонному пятнышку, но Раиса Ивановна — «пфуй»!

Ах, как жалко!

Безрукая шуба щетинится комом древнего меха в снега; и хлопает в воздухе крыльями; я бросаюсь на шубу; обхватить ее ручками; она нагибается низко, и из шершавого меха, под шапкой, уставятся: два очка; и белая борода прожелтится усами; шуба — гуляет, как я; и она называется: Федор Иваныч Буслаев; и Федор Иваныч зашамкает —

— птичка ему рассказала, что Котик Летаев сегодня гуляет; и он Котику принес на бульвар кое-что: и дрожащей рукой меня треплет по разгасившимся щечкам; и кусочек рябиновой пастилы осторожно просунет мне в ротик, кивая очкастою головой; Федор Иваныч Буслаев гуляет не на ногах, а... на шубе (живет в своей шубе), а шуба проходит: чернокрылые каркуны сквозь суки пропорхнули ей вслед.

Рассыпаются снеговые вьюны; рассыпаются неосыпные свисты; пахнет трубами в воздухе; золотою ниточкой фонарей многоочитое время уже побежало по улицам: предвечерним дозором; все на небе расколото; кто-то блистает оттуда, из-за багровых расколов; желтеет, мрачнеет; и — переходит во тьму.

Мы — домой.

. . . .

Вечером: —

— на летящих спиралях, с обой, кружевеют, горя, косяки красных зорь: бледно-розовым роем, а —

— Раиса Ивановна мягким, агатовым взглядом таинственно переводит мой взгляд: переводит туда, где —

— багровая голова, со стены хохоча, огрызнулась оскалом.

Не успею я вскрикнуть: Раиса Ивановна —

— милая! —

— шаловливо уж клонит свой локон в мой локон; и — начинает смеяться.

Кружевные дни — на ночи: повторяют себя — на ночи; тени свеялись из углов; тени свесились с потолков; и, возникая из воздуха,— черногорие женщины проходили по воздуху.

. . . .

По вечерам мне Раиса Ивановна все читает —

— о королях, лебедях;

ничего не пойму: хорошо!

Мы — под лампою; лампа — лебедь; и ширятся лучики — в белоснежные блески развернутых солнечных крылий, пересекаясь в ресницах; застревая в волосиках, пощекочут ушко они; полудремотно ласкаюсь я к лучикам; голова на коленях: ласкаюсь к коленям; все отхлынуло — в теневое, темное море; спинка кресла — скала; она — набегает, растет: хорошо!

Со скалы: —

— (Явь ушла в полусон: в полусон вошла сказка) — стародавний король просит верного лебедя по волнам, по морям плыть за дочкой в страну незабудок (когда это было?) —

— лампа —

лебедь: с лебедем улетаю и я: —

— мы — кидаемся в волны; несемся по воздуху в голос: забытый и древний: —

— . . . .

«Я плакал во сне.
«Мне снилось: меня ты забыла.
«Проснулся... И долго, и горько
«Я плакал потом...»

(Это — кто-то: поет из гостиной...)

Полусон мешается мне со сказкой, а в сказку вливается голос: —

— мы — в воздухе: на лебединых, распластанных крыльях, где на протянутых струнах воздуха разыгрались арфисты и где лебединые перья, как пальцы, сиянием проходят по ним; лебеди переливаются по лазурям, а из лазурей —

— (б е з з в у ч н о, к а к п р е ж д е, у ж е к и в а е ш ь м н е т ы: тебя не было; плакал я без тебя; все забывши, я плакал; ты вернулась ко мне — лебединая королевна моя) —

— . . . .

«Я плакал во сне.
«Мне снилось: ты любишь, как
прежде.
«Проснулся, а слезы все льются...
«И я не могу их унять...» —

— Несемся: все вместе. Несется и красный Наставник за нами: тысячелетием, пламенами и пурпуром: —

— открываю глаза: лебедь — лампа.

Лебедя вырежет мне Раиса Ивановна завтра...

. . . .

Воспоминание детских лет — мои танцы: под лампою; в с е в о в с е м: насыпают в чайницу чай; и над куском кабинетной стены под самоваром бормочет быстроглазый мой папа; в кабинете стен нет: вместо стен — корешки, за которые папа ухватится: вытащить переплетенный и странно пахнущий томик: вместо томика в стене — щель; и уже оттуда нам есть: —

— проход в иной мир: в страну жизни ритмов, где я был до рождения и оттуда теперь вынимаю я пальчиком... паутинник; папа же томик раскроет; и —

— бросятся —

— крючковатые знаки: дифференциала и... функций; эти функции ползают на крючочках; и, вероятно, кусаются, как... мурашки, которые позаводились в буфете и которые... —

— раз принесли мне кусочек черствого хлебика... из него делать грешника, то есть обмакивать в чай; разломили кусочек, а там-то —

— в кусочке-то! —

— мураш-

ки: —

— красные! —

— ползают! —

— папа придвинул свой нос, и, подпирая очки двумя пальцами, он заерзал лицом и воскликнул:

— «Ай! Какая гадость: мурашки!»

Сам же он поразвел на дому всяких функций на листиках (до функций Лагранжа включительно), и существа иных жизней во всем: и в буфетных щелях, и в паутине под шторой —

— видел я там брюхоногую функцию: —

— папа пестрит своей функцией белые листики; функции с листиков расползаются по дому; листики бросит в корзиночку; я же листики вытащу; и — Раиса Ивановна мне из них нарежет ворон; все вороны мои не простые, а — пестрые; и — на себе они носят: многое множество растанцевавшихся иксиков; мне надоели вороны; и я — гляжу в иксики: —

— в иксиках — не бывшее никогда!

В них — предметность отсутствует; и — угоняются смыслы...

Вечер: мне — пора спать. Мамы нет (она на «Маскотт» — в бенуаре); мы с Раисой Ивановной за вечерним столом вместе с бабушкой и Серафимой Гавриловной, старушонкой; папа там, под самоваром, бормочет: у чайницы, черной, лаковой и китайской; на этой китайнице — вижу я: золотые сады, многокрышие домики, золотые птицы и люди — китайцы.

Все одно: золотой Китай или... чай.

Папа выставит на Серафиму Гавриловну из-за книги и таинственно подмигнет ясноглазым лицом:

— «Серафима Гавриловна: Страшного Суда-то не будет».

— «А как так не будет?»

— «Судную-то трубу украл, видно, черт: переполохи на небе... Об этом писали в газетах».

И Серафима Гавриловна нам обиженно пожует блеклым ртом.

— «Переполохи и неприятности: у Николая Угодника с Михаилом Архангелом...»

И тут примется утапатывать в коридор повеселевший вдруг папа: и уже —

— «Почистите сюртучок!» —

— раздается

оттуда; мне — не весело: что-то будет!

Папы нет; папа в клубе: один; и все — в бесподобиях; переполохи в углах; и неприятности — под полом; и лишь один потолок в световых кружевах; комнаты, как ковши, зачерпнули за окнами мраку; и, как ковши,— полны мраку; Серафима Гавриловна спряталась в листья лапчатой пальмы: озираться, топтаться и, содрогаясь, бояться — темпотного топота; тихоправная бабушка — ушла в кухню; переливается звездами неосыпное небо.

И — ползает функция.

Раиса Ивановна меня уложит в постельку.

. . . .

Мне не спится... Повешено мне на стенке окошко: там — стылая ясность вечернего неба и стылая ясность вечернего неба дрожит; и —

— самоцветная звездочка —

— мне летит на постель; глазиком поморгает; усядется в локонах; усом уколется в носик: чихну.

А звездоглазое небо моргает в окошке.

Вот откроют форточку, и, как безгорбое облако, тихоплавно войдет синий холод; остужать синеродом: —

— и певчая стаечка звезд — к нам ворвется; кружить по углам и наполнить все щебетом: —

— две от стаечки отделятся и начнут порхать друг над другом, затеяв веселую драку, а какая-нибудь сядет к Боженьке в уголок; трогает крылышком огонек и пробует маслица из лампадки: —

— все же другие блистающим одеяльцем опустятся на меня: распевать небесные песни: —

Сплю...—

. . . .

А за окнами все подтянуто, втянуто: в синеродную вышину, а она-то носится звездами, то — под собою их гонит; катится наливная звезда за перекладину рамы; и быстротечное небо несется, чтобы прогнаться под утро: уйти восвояси.

ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Впечатления первых мигов мне — записи: блещущих, трепещущих пульсов; и записи — образуют; в образованиях встает — что бы ни было; оно — образовано.

Образование меняет мне все: —

— и точки моих впечатлений дробятся —

— душою моею! —

— и риза мира колеблется; по ней катятся звездочки законами пучинного пульса; и безболезненно гонится смысл любого душевного взятия метаморфозами красноречивого блеска, где точка —

— понятие! —

— множится многим смыслом; и вертит, и чертит мне звенья летящей спирали: объяснение — возжение блесков; понимание — блески в блесках, где ритм пульса блесков мой собственный, бьющий в стране танца ритмов и отражаемый образом, как —

— п а м я т ь о п а м я т и!

Преображение памятью прежнего есть собственно чтение: за прежним стоящей, не нашей вселенной; впечатление детских лет — пролеты в небывшее никогда; и — тем не менее сущее; существа иных жизней теперь вмешались в события моей жизни; подобия бывшего мне — сосуды; ими черпаю я — гармонию бесподобного космоса.

П а м я т ь о п а м я т и — такова; она — ритм; она — музыка сферы, страны —

— где я был до рождения!

Воспоминания меня обложили; воспоминание — музыка сферы; и эта сфера — вселенная. Впечатления — воспоминания мне моей мимики в стране жизни ритмов, где я был до рождения.

СИНИЙ ГЛАЗ — ДОБРЫЙ ГЛАЗ

— «Сколько надежд дорогих»,— поет мама, бывало...

— «Сколько счастья»,— подхватит, бывало, двоюродный мой дядя.

— «Благих»,— сливаются голоса...

Светослужение — начинается; —

— свои глазки закрою

я; их потру кулачками; и возникнет в закрытых глазах моих центр —

— желто-лиловый, бьющийся, светлый! —

— и

трепеты молний, из центра летящих спиралями и исходящих мне точками блесков, дробимых метаморфозами красноречивейших светочей.

Желто-лиловый центр — счастье; а светопись молний — мои дорогие надежды; образуют мне — светлую ризу под веками; я потру кулачками глаза; и светлая риза колеблется; по ней катятся звездочки и развивают хвосты светлых блесков — вокруг лилового центра; и из светочей вылагаются: образы и подобия комнат; это — комнаты космоса; это — таимые комнаты; это — церковь, перенесенная мне под веки; папа там на мгновение возникает; перебегает мне комнаты: кивает, как память о чем-то; и образует проход — в иной мир: желто-лиловый центр мчится навстречу мне, раздвигается в синий глаз; синий глаз — добрый глаз: он моргает ресницами блесков; он — ширится; и громаднейшим синим кругом несется навстречу; мгновение: —

— я бросаюсь туда, в эти звенья летящих спиралей и в ритм пульса блесков (мой собственный), где я —

— был до рождения!..

Мгновение — я забылся: и с открытыми глазками протянул свои ручки навстречу: —

— из-под моргающих век улетел космос света; и — васильковая комната передо мною: все та же.

«Сколько надежд дорогих,
«Сколько счастья!..»

Блески — счастье: они — дорогие надежды; и синий глаз — добрый глаз! — небо; и небо люблю я; люблю лучики; миллионами светлых пылинок клокочут они; я тянусь к ним: их взять моей ручкой; и — свободно проходит рука в ясном блеске пылинок; огоньки свечей и, главным образом, мамины алмазные серьги вызывают воспоминанье во мне: моих замкнутых глаз и под веками светлого желто-лилового центра, бьющего блеском молний и открывающего мне проход —

— в иной мир.

. . . .

Синий глаз узнаю я и после: он — глаз в треугольнике; этот глаз — в церкви Тихона-на-Тупичках — видел я.

САМОСОЗНАНИЕ

Самосознание этих мигов — отчетливо: —

— самосознание: пульс; мыслю пульсом без слова; слова бьются в пульсы; и каждое слово я должен расплавить — в текучесть движений: в жестикуляцию, в мимику; понимание — мимика мне; и трепет мысли моей: —

— есть ритмический танец; неизвестное слово осмысленно в воспоминании его жеста; жест — во мне; и к словам подбираю я жесты; из жестов построен мне мир; передо мной пробегают слова: папы, мамы, Дуняши, профессора, которого я запомнил в то время (он — в желтом) и слова напечатаны на душе мне неведомым гиероглифом: —

— и смысл звуков слова дробится —

— душою моею,—

— и понимание мира не слито со словом о мире; и безболезненно гонится смысл любого словесного взятия; и понятие прорастает мне многообразием передо мною гонимых значений, как... жезл Аарона; гонит, катит значенья; переменяет значенья...

Объяснение — воспоминанье созвучий; пониманье — их танец; образование — умение летать на словах; созвучие слова — сирена: —

— поражает звук слова «Кре-мль»: «Кре-мль» — что такое? Уж «крем-брюлэ» мной откушан; он — сладкий; подали его в виде формочки — выступами; в булочной Савостьянова показали мне «Кремль»: это — выступцы леденцовых, розовых башен; и мне ясно, что —

— «к р е» — крепость выступцев (к р е-мля, к р е-ма, к р е-пости), а: — м, м л ь — мягкость, сладость: и потом уже из окошка черного хода (ведущего в кухню), где по утрам водовоз быстроливным ведром наполняет нам бочку,— показали мне: на голубой дали неба — кремлевские башенки: розоватые, крепкие, сладкие: —

— эти башенки — животечные звуки слов, восстающие подкидною

линией красок; и — самоглавым собором; линии — беги ритмов, цветущих мне сонно-знакомою мимикой,—

— свои глазки закрой; и — потри кулачки: животечная светопись молний из лилово-желтого центра — летает, блистает; центр — пульсирует молньями: —

— животечная светопись молний — слова; а пульсация — смыслы; животечная светопись слов гонит в сон; гонит в комнаты смысла: —

— понятие (душевное взятие слова) есть светопись дробимого ритма; она ветвится, как древо; и возжигается блеском образов, точно свечек на елочке; но ритм пульса блесков — мой собственный, бьющий в стране танца ритма и отражаемый образом, как *память о памяти*.

И впечатления слов — воспоминания мне.

ВАЛЕРИАН ВАЛЕРИАНОВИЧ БЛЕЩЕНСКИЙ СГОРАЕТ ОТ ПЬЯНСТВА

— «Валериан Валерианович Блещенский...»

— «Что такое?»

— «Сгорает от пьянства».

И Валериан Валерианович Блещенский встает предо мною: черноусый, в мундире со шпагою, и — в треуголке с плюмажем — в огнях; звенья ярких спиралей трескучего пламени возжигают в нем блески; Валериан Валерианович Блещенский дробится огнем светлых дымов и уж гонится он —

— метаморфозами дымных пеплов на небе; или он прогоняется мне под веки (кулачком потру я глаза) и там крутится он на фонтанных огнистых хвостах, в пьянстве светов, в метаморфозах красноречивого блеска: его — нет; он — сгорел; мир сгорит от огня; светопреставление — гибель вселенной в пламенных ураганах на нас летящего ока; Валериан Валерианович — мне уже преставился в свете: сгорел в беге блесков.

От него остался лишь пепел.

И вот снова звонится к нам Валериан Валерианович Блещенский, как ни в чем не бывало.

Валериан Валерианович все равно что полено: деревянная кукла он; деревянная кукла в окне парикмахера Пашкова мне известна: она похожа на Блещенского; Бле-

щенских продают саженями; и потом их сжигают; Поликсена Борисовна Блещенская покупает себе Валериан Валериановичей саженями; и постепенно сжигает их: одного за другим.

И пока один из них к нам заходит с визитом, другой уже —

— растрещался в камине в спиралях летящего пламени и выгоняется метаморфозами дымов под небо: сгорает от пьянства.

Объяснение — возжение блесков; понимание — свет под веками; и Валериан Валерианович Блещенский возникает в глазах из желто-лилового центра спиралями молний.

МАМОЧКА ЕДЕТ НА БАЛ

Моя милая мамочка — молодая; и — ходит себе именинницей; а бледноустая тетя Дотя разводит... грустины и праздноглазо уставится в мамочку: мамочка скажет ей: — «И в кого ты такая».

Щечки мамины — полнокровный, розовый мрамор; и твердые руки — в трещащих браслетах: с Поликсеной Борисовной Блещенской, в великолепной карете, поедет — на предводительский бал: веера, сюра, тюли! в мочках ушек алмазные, мелкогранные серьги слезятся перебегающим пламенем; мамочка — в бальном, бархатном платье, в опопонаксовом воздухе, из нежно-кремовых кружев склонила свою завитую головку и веющим веером: на меня гонит холод...

Тетя Дотя разводит кислятину; старая бабушка курит опопонаксом; из пульверизатора вылетает струя; из пульверизатора прытко прыщутся шипры; и этими смесями душится мамочка; завитые валиком волоса —

— пуф-пуф-пуф! —

— покрывает пудрой пуховка: двенадцатисвечие — в зеркалах (по четыре свечи — в трех углах: по четыре свечи в зеркалах!). Зажмешь глазки; текучая светопись самородного блеска уже закачалась в закрытых ресницах: —

— и мне кажется: —

— мамочка, в великолепной карете, от нас проедет под аркою: в иной мир и в светлые сферы мазурок, где Миловзориков в малиновом ментике гремит ясной шпорой, а красногру-

дый гвардеец, Гринев, гордо выпятил грудь, где, раскинувши в воздухе фалды фрака, двубакий Азаринов завивает вальс в белом блеске колонн; и неслышно несутся за ним — на легчайших спиралях...

И Поликсена Борисовна Блещенская позвонилась... за мамочкой; мамочка в ротонде проходит; карета несется по улицам; за каретой ряды огней: ряды убегающих дней — в рой теней; —

— людоедное время хоронится там, в туманных роях; людоедное время погонится на черноярых конях...

. . . .

Мамины впечатления бала во мне вызывают: трепетания тающих танцев; и мне во сне ведомых; это — та страна, где на веющих вальсах носился я в белом блеске колонн; и память о блещущем бале — одолевает меня: светлая сфера не нашей, за нами стоящей вселенной, где...—

— раскинувши в воздухе фалды фрака, вьет вальсы Азаринов, где красногрудый гвардеец Гринев гордо выпятил грудь в белом блеске колонн, где Владимир Андреевич Долгорукий...—

— блещущие существа посещают нас и смещают мне представления: драгун, дракон — то же; появился однажды он: в розово-рдяных рейтузах; я все трепетно ждал: вот он будет из уст нам выкидывать пламень; но этого не случилось... И был — Глянценродэ (огромная шапка с султаном!): носолобый, запутанный в серебро; впечатление блещущих эполет было мне впечатлением: трепещущих танцев; и потянулся я все к колесикам шпор; воспоминание это мне — музыка сферы, страны —

— где я жил до рождения!

ПАПА

Быстроглазый мой папа: приземистый, головастый, очкастый; множит нам толчею; и — угоняет нам смыслы.

Распахивает столовую дверь; и оттуда он смотрит, как... п а м я т ь о п а м я т и; память о памяти такова: она — проход в иной мир; и папа вторгается из проходов поговорить, пожить с нами; и образуется — что бы ни было; образования — строи; папа — строит нам строи

мыслей, приподымая при этом очки и вперяясь добродушно на нас; это он — учит мамочку:

— «Математика — гармония сферы... Риза мира колеблется строем строгих законов: по ней катятся звезды... От ближайшей звезды лучевой пучок пробегает к нам, знаешь, три года...»

В очках дрожит солнышко; я — закрываю глаза; и — умножаются блески; и — светлая риза колеблется; пролетели все смыслы, а папа стоит, открыв дверь в кабинетик, оттуда он смотрит.

И поплачу я за окно — в ясноглавое облачко.

Вот, бывало, заря; вот — оконная рама; вот — я: бабушка, мама и я — мы живем своей жизнью; а папа врывается... из-за книжного шкафа; и — убегает обратно: к корешкам толстых томов, таящих в себе все какие-то гиероглифы: —

— дифференциал, интеграл! —

— я их знал: до рождения!

— «Математика — гармония сфер...»

А мы папу не слушаем; и нос уткнет в книгу он: вертит — чертит на листики звенья какой-то спирали; а войди к нему в комнату: он в распахнутом, пыльном халате целится в толстый томик: в него бьет пыльной тряпкой: моргает в закаты...

Вижу я мамочкин взгляд, переведенный на папу.

Бабушка оправляет косынку; мамочка оправляет наряд; мамочка моя, как... картинка; папин опущенный взгляд: папа у нас как бы... «так». Я — не рад, видя мамочкин взгляд, переведенный на папу: —

— воспоминания облагают меня; это — не бывшее никогда; и точно — бывшее прежде; папа мне — существо иной жизни; ходит с согнутым томиком, и, махая рукой, ею черпает гармонию бесподобного космоса: —

— папа мой — математик Летаев; и папа — **мой** папа; только мой, ничей иной; математик Летаев не может быть папою никому на земле; он — папа мне; и почему это так, что папа мой — математик Летаев?

Разве я виноват?

И поплачу я — за окно: в ясноглавое облако.

. . . .

Знаю я: —

— математику чистится сюртучок; и он, быстротечный, несется посиживать: —

— в Университет,

— в Совет! —

— если же математику не сидится на месте, то математик забродит: без толку и проку по кабинетику — от книжной полки до полки; барабанит пальцами: по углу, по столу, по стене; прибормочет, пришепчет — приземистый, темноглавый, очкастый:

— «Эн-эм два на це три!»

Тарарах-тах-тах-тах!

— «И по модулю шесть...»

Тарарах-тах-тах-тах!

И тонко очиненным карандашиком чертит-чертит на листиках.

И что он набормочет, нашепчет, то — расскажет им всем: Василисимову, Притатаенке и Брабаго.

Василисимов — «конгруирует».

Серафима Гавриловна, с бабушкой и старой девою Верой Сергеевной Лавровой, на математиков собираются посмотреть: из гостиной; и разводят руками на них — из-за листьев лапчатой пальмы.

— «Математики... Ученые... Головы...»

— «Все у них там — свое...»

— «Дифференцируют там они!»

. . . .

А бывало, папа, прояснясь, наклонится великаньим лицом; и — ясновзорным, и — добрым, с растормошенными космами и устало раскосыми глазками; и уставится ими в душу; на заморщиненный выпуклый лоб приподнявши блеск очков, осторожно положит мне ручку на свои большие ладони и из усатого-бородатого рта надувает тепло под рукавчик; и легкодышащим ртом что-то шепчет про небо:

— «Оно — сфера: гармония бесподобного космоса — в нем: по нем катятся звезды законами небесной механики...»

И чертит и вертит под носом моим карандашиком звенья спирали; и впечатлеет мне в душу; и точки моих впечатлений — дробятся; и риза мира колеблется.

Наливное, безглазое облако — посмотрю — там проходит за окнами; своим пламенным ободом ополчинится в небо.

Изредка берет меня мама.

И на саночках, мимо саночек, пролетаем мы — в саночки: в белом шипне метелицы; из метелицы — в вьюгу; из переулков и улиц — переулками, улицами: в переулки и улицы.

Переулки и улицы пролетают домами.

И уже таинственно пахнет Поповский пассаж; и надо мною, пустой, раздается он гулкими переходами сводов; зажигают лапчатый газ; в окнах лоснятся ленты; малиновеют материи; от окна — к окну: веера, сюра, тюли.

Мы бежим прямо в дверь, и —

— приказчики принимаются —

— из стены выхватывать валики и кидаться ими в прилавок и, вертясь на руках, по прилавку забьют —

— вам —

— вам-вам —

— волосистые валики, разливая бордового цвета материю; и — на мамины руки! Мама щупает добротность материи, а галантерейный приказчик над нею разводит руками; и говорит ей:

— «Шан-жан!»

И уже накидаются желтые, плотно сжатые плитки; развернутся, раскроются; и — ах! — все малина; развернутся, раскроются; и — ах! — все в шелках.

Мамочка залюбуется желто-красным атласом; из руки приказчика остервенело лязгнули ножницы; закусались и прытко запрыгали по желто-красным атласам: отхватить атласца и нам.

Мы выходим; мы — вышли; и — видим уже, что взлетел подкидной огонек; что на улицах поредел людоход; тихий месяц прорезался; чешется многогрудая психа о трубу водостока: спиною; и — звездное небо выносится — от зари до зари, чтоб другое, беззвездное выгнать: от зари до зари.

Уже мы — к носорогой портнихе; черная, она выскочит каркнуть нам:

— «Ну, и атлас: ну, и вкус же у вас!»

Забодается длинным носом на маму... Мама все ей отдаст; и она убежит за альков: раскромсать нам атлас.

Вновь на саночках, мимо саночек, пролетаем мы в са-

ночки; приморозило, а — тепло мне под полостью; вздернешь голову вверх: иззвездилось все — донельзя; неосыпное небо кипит, дрожит, дышит: переливается звездами:

— «Нет, нет, нет: ты — не папин, не — мамин... Ты — мой!..»

А Млечный Путь — приседает.

ЧЕТЫРЕХЛЕТИЕ

Четырехлетие перечертило жизнь надвое: я как бы пересыпался из эпохи в эпоху —

— понимаю я пересыпь поколений — из эпохи в эпоху: за сквозным людолетом времен проясняется явственно — ангел эпохи —

— иная эпоха мне светит: —

— будто ночь, мрачный бык, бодал стены столовой; блескородные диски кидались спасительно в окна; жизнь освещалась моя: будто: —

— на вновь образованной суше приподнялся я со дна океанов, где виделись гады; но суша сознания простиралась: моря отступали; самовольные воздухи наполняли мне легкие; иногда начинало душить: это — трогались зараставшие жабры во мне древним ужасом; и подымались — гадливости; в миголетах времен начинал я дрожать, потопляемый миголетами времени; да, я плакал в пучинах: и —

— впоследствии, будучи уже гимназистом, прочел, что к Калигуле приходил... Океан; приход Океана был ведом мне в детстве: Океан и Титан — это прощупи прежних бездн —

— (мне впоследствии представлялся Титаном, огромным и грохотным,— Помпул) —

— эти

прощупи гонятся: стародавним Титаном.

Титан бежит сзади.

. . . .

Между тем все менялось: сухо веяла в окна метельная пересыпь; а потом: рыхло стала носиться она,— омягчая дома в навеваемой снежини; тепленело: вставали туманы; закапало бисерным дождичком; после дождиков —

гололедица-лединица блистает; и — хруст ледорогих сосулек; и — ломко, и — скользко.

Уже нет снегопада; в сырых, в обливных деревах — ветроплясы стоят; кудревато дымы выпрыгают из труб и расчесано низятся склоны их; уже моют нам стекла окон: и — запах замазки; стаканчики яда стоят; убирается вата; открыто окошко.

И грохотно.

Я внимательно изучаю дома: по косяковскому дому я знаю, что все это — тайны; может быть, в тех домах нет печей; может быть, там не водятся папы и мамы, но дяди и тети.

Перевивы орнаментов, надоконные арабески и полные каменных виноградин гирлянды — глядятся нам в окна; то — розовый дом Старикова; но вот столб желтой пыли взлетит с мостовой и окно — закрывают.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ОЩУПИ КОСМОСОВ

О, страшных песен сих не пой!..
Ф. Тютчев

ВСЕЛЕННАЯ

Все смотрю я из окон: —

— примечательно мне говорят: жесты каменных, стенных, длинных линий,— подающие кучами крыш окопченные трубы — под облако, которое вылагается в небо; на трубе сидит кот; к ней идет трубочист; с малой лесенкой, с гирями; грохотно скалится мостовая — внизу: крепким, белым булыжником; многогрохотно бредит она —

— ррр...ррр...ррр...—

— с колесом ломового, с пролеткой,— внизу из ущелий: в безмерностях переулков и улиц, ведущих в тупик — к мировой безоконной стене с водосточной трубою, в которой зияет жерло в никуда, и откуда в дождливые дни изольются небесные хляби; жерло ведет в бездну, около которой сидит рваный нищий и указует на страшную свою язву; песик тоже почешет о край водосточной трубы, о дыру, безволосую спину свою; и — скулит там: над бездной.

Тротуары, асфальты, паркеты, брандмауэры, тупики — образуют огромную кучу; эта куча есть мир; и его называют «Москва»; на асфальтах, паркетах, брандмауэрах повисает «Москва» посредине пустого, огромного шара; в этом шаре живем мы; он — небо; открываются форточки в нем; и — пропускается воздух; этим делом заведует: пристав Пречистенской части, проживающий в каланче и оттуда нас извещающий приподнятым шаром, что он бодрствует и что «мир» беспрепятственно повисает. Окончание нашей квартиры — глухая стена; если в ней пробить брешь, то небесные хляби — хлынут; и будут потопы; по булыжникам будут пениться белогривые волны; и «Москва» переполнится, как... водовозная бочка.

Между тем, за глухою стеною, вне мира, давно проживает — сосед: Христофор Христофорович Помпул; непосредственно за стеной тяжело повисает во мрак — его письменный стол; и четыре колесика кресла блистают — в ничто; в нем-то вот воссел Помпул, с огромнейшей книжищей; и колотится ею — нам в стену; полосатый живот из-за кресельных ручек урчит и громами, и бредами; в животе — блеск огней; будут дни — разорвется он, в стену ударит осколками; образуется черная брешь: в нее хлынет потоп.

ПОМПУЛ

Христофор Христофорович Помпул — был совсем как... буфет, хоть и жил он вне мира, за нашей глухою стеною, он все же в «мир» хаживал.

Если бы хорошенько приплюснуть наш столовый желтый буфет, то середина буфета бы вспучилась; было бы — набухание; было бы — круглотное брюхо буфета: в никуда и ничто; были бы уши рвущие грохоты посудных осколков в буфете; и был бы он — Помпулом.

Говорилось у нас: собирает все какие-то данные Помпул; за статистическим данным бросается в Лондон; и Лондон, я знал, есть ландо́ (ландо видели мы на Арбате). И Христофор Христофорович Помпул в моем представлении целый день гнался в Лондоне за статистическим данным; то есть: целый он день, проезжая в ландо (его все-то обыскивал он),— с двумя желтыми баками; и — во всем полосатом; полосатое — думал я — и есть образ жизни: по статистическим данным.

По ночам же он, наперекор всему,— заводился у нас за стеною: в н е м и р а...—

— я впоследствии знал его комнату; я впоследствии понимал: заводился он среди очень громких предметов, безалаберно там возился; и вытаскивал переплетенные томы — огромнейшей библиотеки; погромыхивал, колотясь ими в полки, в столбе книжной пыли; мне казалося: кто-то там заживал; слышалось наступление дубостопного шага; из-за стены — в коридоре; чуялась: неотделенность стеною от шага; и стало быть: появление Помпула у постельки; и — с толстым томом в руке; думал я: вот идет теперь Помпул: —

— и глухо бубукали звуки — из мировой пустоты: выбивал Помпул пыль; и от этого дубостопный буфет начинал будоражиться.

ЛОМАЕТ ПРОЛЕТКИ

Мы однажды весной шли гулять: было страшно. Над нами слезал тихолазный толстяк —

— «Беда: это — Помпул».

Христофор Христофорович переламывал оси пролеток: подстережет он извозчика и бросается на него — прямо в Лондон: ось — лопнет; извозчик — ругается; я, увидевши Помпула, сзади стучащего желтой палкой, все-то думаю о извозчике Прохоре — о лихаче; мне хочется выбежать: перед Помпулом хлопнуть дверью; и — раскричаться на улице:

— «Беда...

— «Помпул сходит...

— «Спасайтесь, извозчики!..»

Извозчики от него — врассыпную, бывало; где проходит по улице Христофор Христофорович, стуча желтой палкой о тумбы,— там пусто: ни одной пролетки уж нет; а за углами их — кучи; они ожидают; желтокосмый там Помпул пройдет; с грохотом после этого они вкатятся снова на белые крепкие камни.

— «С нами, барин!»

— «Пожалуйте...»

Выкинется, бывало, пролетка — из-за угла, невзначай; и уже несется она в глубину Арбата — от Помпула.

Христофор Христофорович это знал; и, притаившись на корточках за стеной переулка,— пыхтел он ужасно; и отирал себе пот с крепкокостого лба полосатым платком; и вот — едет пролеточка: Помпул, уже увидев ее, задрожит; и подкрадется на карачках к углу перекрестка, чтоб прыгнуть в нее невероятно огромным прыжком: полосатым своим животом; и тогда-то вот, на переломленной оси, катается в «Лондоне» Помпул; и собирает в нем «данные».

. . . .

— «Да — вот, знаете: Христофор Христофорович-то — ломает пролетки...» —

— доканчивал папа свою небылицу (смутно помнится это), лукаво смеясь и блистая очками; я — верю; а мама — рассердится: небылицы не любит она.

Папа скажет ей:

— «Врать ты мне не мешай: а не любо — не слушай...»

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

Смутно помнится: папины небылицы выслушивал — Лев Толстой их любил.

Лев Толстой — кто такой?

Я не знал, что такое — толстое (или, что ли,— толстовство): ну, там,— звание, как звание архиерея, попа, математика; и где водятся архиереи, там есть и толстые; так бы я ответил тогда на неуместнейший вопрос о Толстом; если бы в это время я знал, что университетские города существуют повсюду, то я бы ответил, что на город приходится: по математику, губернатору, архиерею и... Льву Толстому; впрочем, я знал один город (о нем говорилось, что мы туда едем); и этот город есть «Клин».

Всякий город есть «Клин»...

. . . .

Видывал в это время и я — одного Льва Толстого: он пришел к папе в гости; сидел в красном кресле; ввели меня и сказали:

— «Вот — Лев Николаевич...»

Я его не запомнил. Он брал меня на руки: но запомнились очень ярко: пылинки на серых толстовских коленях; и огромная борода, щекотавшая лобик мне.

Эти бороды, думал я, верно, львиные гривы «Толстых»; и я думал: о небылицах, об оси пролеток, о Помпуле, о костромском мужике и о пророке Магди; про «мужика» и «Магди» — это папа рассказывал: всем московским извозчикам; и гремело папино имя в городских ночных чайных; извозчики, собираясь туда, передавали рассказы о «мужике» и «Магди»...

. . . .

Помню после уже: из метели выносятся саночки; в саночках папа несется — в огромной енотовой шубе; и из нее торчит — меховой колпак шапки, очки, два уса; прижимая к груди свой портфель полуразорванным меховым рукавом, заливается смехом мой папа — грохочет извозчик:

— «А костромской-то мужик?»...

— «Хе-хе-хе-с...»

И — уносятся саночки.

. . . .

Я однажды встретил извозчика (тому назад — шесть-семь лет); это был сутуленький старикашка, который узнал меня:

— «Как не помнить вас: были вы Котенькой-с...

— «Как же-с: барина-батюшку помню... Хе-хе-с... Михаил Васильевич-с... Шутники-с... Ему скажешь, бывало: на Моховую на улицу... А они-то, бывало, расскажут: о мужике да о черте.

— «Не гнушались простым человеком... Бывало: стараются...

— «Вечная память им».

ПРОФЕССОРА

Подозрительно я встречаю гостей — профессоров и директоров казенных гимназий, потому что я знаю про них: —

— все они — Украшения; и потом еще: все они — изваяния; они украшают Империю: это слышал я от тети Доти и бабушки; а о том, что они крепколобы, я слышал от дяди Ерша: бьются лбами о стены они; и все прочие мне говорят, что «профессор» — маститость —

— то есть то, чем мостят; и у меня слагается образ —

— «Империи»,

то есть какого-то учреждения вроде К а з е н н о г о Д о м а: колоннады или — ну, там, карниза, подпертого теменем, очень крепким; становится ясным: профессор —

— приходит с карниза.—

— И меня уже грызут мысли: о ненормальности телесного состава «профессора»; невыразимости, небывалости лежания сознания в теле профессора ведь должны быть ужасны; ведь он весь к а к о е - т о — т о, д а н е т о; я со страхом, бывало, все вглядываюсь в их бескровные, мрачные лица; да, их лбы — тяжелы, беднокаменны; их стопы — тяжкокаменны; голоса — скрип кирки о булыжник...

Профессора и «доценты» —

— бывало, сойдется к нам славная стая их (со всех московских карнизов); и рассядется: в красных креслах гостиной: горластые дымогоры взлетают —

— ударяя пальцем по креслу, бывало, плетет Грохотунко — изветы: и — ветви изветов —

— а я не пойму; и — дрожу —

— от бессмыслицы громких слов и таимого ужаса «п р о ф е с с о р с к о й ж и з н и»; и старинные бреды подымутся: —

— сам «профессор» есть прощупь в иную вселенную, где еще все расплавлено и куда профессор несет свои бреды; в них носится, как, бывало, носилась с т а р у х а; с т а р у х а — жена его; моя крестная мать, Малиновская, есть с т а р у х а — п р о ф е с с о р ш а. Очень часто профессор — старик.

. . . .

Стариков и старух я боюсь.

БРАБАГО

И когда к нам звонится, кряхтя, головастый Брабаго, то боюсь я Брабаго; Брабаго ощупывал взглядом; щипался глазами; свинцовая боль подымалась в виске...

Голос Брабаго ужасен: грохотом головастых булыжников разбивался нам громкий брабажинский голос; и всякие «а б р ы», «к а д а б р ы», бывало, как камни, слетали из кровогубого рта; разбивали толк в толоки; и толокли толчею.

Папа мой, бывало, не выдержит, задрожит и подскочит:

— «Как же вы это, мой батюшка: ведь это все только громкие фразы».

А Брабаго каменно принависнет над креслом, да на меня, притихшего в ужасе, он уставится красным ртом; и — очень злыми глазами; и лицо его наливается кровью, точно зоб индюка; и я — тихий мальчик — бегу: прямо к Раисе Ивановне, на колени: —

— и плачу, и прячу — головку: в колени; все — душит; все — давит; кудри мои беспокойными змеями покрывают мне плечики; все-то кажется мне, что Брабаго там лезет; подползывает; припадает ко мне; и мне рушится в спину: —

— в красный мир колесящих карбункулов распадается мрак.

Посылают за доктором.

. . . .

Раз я его подсмотрел: —

— как он, описывая спиною дугу, прилобился под тяжкогрузным карнизом кирпично-красного дома — в Криво-Борисовском тупичке: неподалеку от домика Серафимы Гавриловны, куда мы ходили с Раисой Ивановной; он, Брабаго, одною рукою поддерживал грузы; другой он рукою сжимал — опрокинутый каменный светоч и, описывая спиною дугу, собирался обрушиться на меня кирпично-красным карнизом; протянулась его белая голова с будто жующим ртом и с пустыми глазами; и — смотрела мне вслед глухою, особою, стародавнею жизнью.

ДОМ КОСЯКОВА

Впечатления — записи Вечности.

Если б я мог связать воедино в то время мои представленья о мире, то получилась бы космогония.

Вот она: —

— Дом Косякова, мой папа и все, что ни есть, Львы Толстые — мне кажутся вечными: —

— все, крутясь, пролетает во мгле, но не дом Косякова: —

— до Арарата он встал из трепещущих хлябей; кусочек Арбата — за ним.

Папа мой переезжает немедленно: в номер одиннадцать; что-то там образует и пишет; между тем: образуются облака, образуются тротуары; мостят мостовую; с дальней крыши пожарные Пречистенской части подымают огромное Солнце; и законами пучинного пульса с Дорогомилова пристает к нам Ковчег; и из него, из Ковчега,—

— с грохотом выгружается: Помпул; и — что бы ни было; Помпула тащит дворник, Антон, в номер десять, в квартиру, соседнюю с нами; и она же есть — мировое ничто; и бубукает Помпул; и мировое ничто обставляет бубуками он; в него с лестницы ведет дверь; золотая дощечка на ней: «Христофор Христофорович Помпул»; дощечка глядит, точно память о времени допотопного бытия, откуда втащили к нам Помпула...—

— папа мгновенно по этому поводу покупает: дубостопный буфет; Помпул бьется к нам в стену: буфет громыхает посудой...

. . . .

А по Арбату уже: —

— в серой войлочной шляпе и в валенках пробегает в Хамовники... Лев Толстой; и там раздробляется он в «толстовство» законами пучинного пульса; и о «толстовцах» мы слышим; «толстовцы» бывают у нас; а смысл — колобродит: метаморфозами образов; метаморфоза проносится пылью по улицам; и возжигается: блеск объяснений над ней, потому что —

— в то самое время с чердака выпускается на зеленую крышу луна; струит блеск над блеском; и над фонарными огоньками несутся сияния; — и умножаются блески катимой луною; луна, описав дугу, падает —

— под тротуары: за парфюмерным магазином «Безбардис».

. . . .

Папа все это создал, бац-бац — быстро хлопает дверь допотопного дома; и —

— папа мой с мировою историей многосмысленно утекает из косяковского дома: —

— в Университет,
— в Совет,
— в Клуб! —
— Наполеоны,

Людовики, Киро-Ксерксы и гунны пролетками громыхают за ним:

— «Со мной, барин».

И — угоняется смысл: на нем Помпул сидит, оповещая Арбат дребежжащей рессорой, что он видит данное: видит данное мне представленье о мире.

Оно — несколько фантастично: что делать.

Так я видел действительность.

. . . .

Нет уже Льва Толстого. И нет академика Помпула; Тертий Филиппович Повалихинский заседает в Верхней Палате, благополучно избавившись от тевтонского плена (по последним известиям, он скончался: мир праху его!); над могильным крестом двенадцатилетие падают снежинки на надпись: —

— Михаил Васильевич Летаев —

— мировая брань не окончена; рушатся в громе пушек соборы; и утонул Китченер; риза мира колеблется: скоро попадают звезды...—

— Не падает дом Косякова; он все так же стоит; и — кусочек Арбата пред ним.

Рухни он,— все исчезнет.

«Я»

Описанное — не сознанье, а — ощупи: космосов; за мною гонятся прощупи по веренице из лет: стародавним титаном: титан бежит сзади.

Нагонит и сдавит.

В детстве он проливался в меня; и я ширился от моих младенческих въятий — титана.

Но ощупи космоса медленно преодолевалися мною; и ряды моих «въятий» мне стали: рядами понятий; понятие — щит от титана; оно —в бредах остров: в бестолочь разбиваются бреды; и из тóлока — толчей — мне слагается: толк.

Толкования — толки — ямою мне вдавили под землю мои стародавние бреды: над раскаленною бездною их оплотневала мне суша: долго еще средь нее натыкался я иногда: на старинную яму; и из нее выгребали какую-то нечисть; и ужас вил гнезда в ней; с годами она зарастала;

глухонемою бессонницей тяготила мне память она. Тяготит и теперь.

Миг, комната, улица, происшествие, деревня и время года, Россия, история, мир — лестница моих расширений; по ступеням ее восхожу: это — рост; я — расту; и иногда себя вижу повернутым и склонившимся в ощупи, шелестящие, как дрожащее древо,— о прошлом.

Об утрате старых громад повествует мне ветер — в сумерки, из трубы; и прощаюсь со старою былью: о рухнувшем космосе... Громыхает, а папа склоняется; и, склоняяся, шепчет мне:

— «Гром — скопление электричества».

А над крышами в окна восходит огромная черная туча; тучею набегает — титан; тихий мальчик, я — плачу: мне страшно.

. . . .

Я внимательно изучаю дома; и московская улица — передо мной возникает стенами; и — орнаментной лепкою.

Перевивы орнаментов, арабески, вазы, полные каменных виноградин; гирляндой опутанный бородач на меня вперяет свои две пустые дыры; я его узнаю: это он, Дорионов; из раскаленного состояния он перешел в состояние каменное; он томится теперь, прислонясь к углу дома, поддержкой карниза; как бы он не соскочил и, потрясая лепною плодовой гирляндой, как бы не принялся он оттопатывать по крепкозвучным булыжникам, поспешая к портному Лентяеву: себе шить сюртучок.

ГИБЕЛЬ

С вечера громыхал Христофор Христофорович Помпул за нашей стеною: так еще он никогда не гремел; да, все — рушилось; сверкания начинали подбрасывать ночь: грохотали пожары; казалося: в страшных тресках разрушились тротуары и крыши; и — осыпались дома; хляби хлынули в окна: думал я — за стеною, как бомба, разорвался тресками Помпул,— пробивая в стене нам огромные дыры.

Вселенная кончилась: тьма. Ничего я не помню.

. . . .

Вскоре помню опять: громыхало и рушилось; сверкания начинали подбрасывать ночь и освещались не стены, а — обступившие толпы Мавров, взирающих очень строго из разлетевшихся складок одежд.

. . . .

Утром вижу я: —

— толпы Мавров — очень многие темнородные пятна перепиленных суков на деревянных стенах неизвестной мне комнаты; мне к постельке склонилось молоденькое лицо с завитыми кудрями; и говорит, с ясным смехом, что уже мы в деревне, в Касьянове.

Молодое лицо с завитыми кудрями — Раиса Ивановна. Помолодела она.

. . . .

«Мир», Москва, переулки распалися; и чернородные, жирные земли простерты повсюду; рухнула мировая, глухая стена; и показались за прудом, куда все провалилось,— проглядные дали.

. . . .

Воспоминание об утрате громад меня давит: повествует ветер в полях мне о рухнувшем космосе: «Городе»; в облачной стае башен плывет этот «город»; тенит поля — прошлым: о Москве, о стене, что-то такое пытаюсь припомнить; не помню; и — мучаюсь.

ГРУСТЬ

Небывалая грусть охватила меня.

Отступило мне все и ушло в кущу листьев: предметы, события, люди; даже — папа и мама.

В прежде бывшей вселенной, в «Москве»,—

— вспоминаю я,—

— мое «я» было связано с лабиринтами комнат; и комнаты мне менялись мгновенно: от моих о них мнений; все обставшее связано с «я»; все предметы меняются: нянина голова мне появится; я подумаю, что мне страшно; и — вот: —

— вместо няниной головы блещет лампа; обои дымятся на стенах: пестреют мне образом; —

— весело, и — уже: за стеною во тьме папа с мамою веселятся кадрилями; грустно мне, и — уже: чернобровая девка, Ардаша, выходит из-под полу...

Это все — отвалилось: все события и предметы от мысли моей отвалились; действия мысли в предметах, метаморфоза предметов при моей о них мысли — все теперь это кончилось: весело — за стеною уже папа с мамою не весе-

лятся кадрилями; грустно — и девка Ардаша не вылезает из-под полу.

Все лежит вне меня: копошится, живет,— вне меня; и оно — непонятно.

«Курица»... это... это... какое-то: гребенчато-пернатое, клохчет, клюется, топорщится; не меняется от моих состояний сознаний; непроницаема «курица»; вместе с тем мне она совершенно отчетлива; и — блистательно мне ясна в непонятностях своей растопорщенной, клювной жизни.

Вот он «я»... А вот — «муха».

И она меня мучает.

Все, что ширилось, распирало меня, вне меня вылипаясь стеною: ужасно распалось, разъялось на части; омертвенело землей, испаряющей вечером пар над душистыми травами; и — побежало по небу: обелоглавило небо; —

— облака бегут на громах и на молньях, а дни — на ночи: повторяют себя на — ночи; —

— светлорогий пастух зовет рогом меня; черный бык — ночь — мычит на меня...

. . . .

По вечерам, над столом, под открытым окном: мы сидим; и — молчим: краснобрюхий комарик с размаху ударится в лампу из мрачного парка; вдруг омолнится все; посребреют глазастые окна; посмотрят, закроются; проговорят перекатные громы; и это все непонятно.

Пролетка проехала?

. . . .

Где Москва?

Развалилась она: никогда не увижу ее.

В КАСЬЯНОВЕ

Я смотрю: и я думаю.

Передо мною на столике молочко: в круглой глиняной крынке; и — два яйца всмятку; а я, тихий мальчик, прислушиваюсь: —

— об утрате старых громад повествует мне ветер: о рухнувшем космосе (грозами рушатся космосы; и, восставая над липами, набегают Титаны на нас — бородатыми тучами) —

— передо мною на столике молочко: и оно — белотечно; и повест-

вует мне ветер о рухнувшем —

— где-то близко за окнами...—

— Все-то воздухи веяли; где-то близко за окнами: самозвучные кущи кипели: то липы; и — лето ходило по липам; и рушились космосы: липовых листьев; и чащи кипели листами; и сочноствольный лесок кипел тоже...

. . . .

С террасы ведут на дорожку: четыре ступеньки; направо, налево — трава; ты сойди — потеряешь себя; и открыта глубокая яма; она — зарастает; глухонемою тоской тяготит; в яме — страшно; там курица...—

— Миг, комната, происшествие, город — четыре ступеньки, мной пройденных; я взошел на них; и расширился мир мне деревней; и вместо стен мне открыты: проглядные дали...

КУРИЦА

Вспоминаю себя я, сходящим с террасы: над шелестящими травами; колкие ощупи трав припадают к лицу; самоводный лужок ходит травами; а перелеты их лоснятся: прохожу я — в старинную яму; цветок одуванчика, сорванный, огорчает мне ротик; тяжелые знои напали; порхает невнятица листьев; бессмысленно — все; я уставился —

— в курицу:

— «Здравствуй...
— «Ты...
— «Курица...»

. . . .

А белоглазая курица клювом уставилась в стену; и — клюнула: мухи нет; желторотые шарики побежали...

Цыплята...

И я —

— вылезаю из ямы; глухонемая тоска тяготит; я — себе на уме: да, я знаю, что знаю: и — никому не скажу —

— как там —

— бегают... шарики.

И мне пусто, мне грустно...—

— склоняюсь головкой к ко-

му-то — в колени, вперяясь в пространства; невнятны пространства —

— (озерцо изморщинилось и издали синилось)...—

— личико поднимаю (а оно все горит) и протянутой ручкою тереблю я Дуняшу.

— «Как там курица...

— «В яме: живет...»

Не понимают меня.

. . . .

Вдруг горячим приливом, как матовым жемчугом, я согрет: меня поняли; и — бархатисто тепло льется в грудку; Раису Ивановну, милую, которая меня поняла, я люблю; и склонилась ко мне своим матовым личиком; и агатовым взглядом зажгла: в моей грудке тепло; поцеловала она: ничего —

— мы над ямой пройдем: еще раз — с ней вдвоем; мы идем уже; курица клохчет, бежит; уморительно убегают за нею все желтые шарики на тоненьких лапочках — в травы; и приседаю я в травы; и — вот: белоглавый грибок: сыроежка; и — вот: мне сухая лепешка (проходит здесь стадо); над ней вьется муха; смеется Раиса Ивановна:

— «Нет, не надо...»

Сухую лепешку я трону.

А Раиса Ивановна:

— «Пфуй...»

Подсыхали вокруг очень многие «пфуи»...

. . . .

Тихо движемся в спящие чащи, в листы: за листы; там — жердисто, нелисто; схватились колючие поросли — рогорогими чащами; двигаюсь — в сонные сумерки, в немо нецветные воды болота.

ВОДА

Там стучат жернова: -

— и вода, зеленея, летит стекленеющим током; а воду дробящие камни прояснились лбами под нею: —

— Так же вот: —

— из меня, от меня улетит все-все-все, что когда-то мне было; за улетающим током душа улетает; а душу дробящие дали окрепли-

мне берегом; безобразное образовано: это — земли; а сонные образы — дымно-кипящие воды: вода, зеленея, летит стекленеющим током; а воду дробящие камни прояснились лбами.

. . . .

У грустного пруда дохнуть я не смею: грустнею, немею...—

— Сребрится изливами пруд: а из него на меня смотрит малюсенький мальчик; он — в платьице, с кружевом; беспокойные кудри упали на плечики: —

— я таков на портрете, еще сохранившемся где-то; я — в платьице, в кружеве; кружево это помню: оно — бледно-кремовое; помню платьице я — из пунцового шелка...—

— малюсенький мальчик, как я; все, что было, что есть и что будет,— теперь между нами: изливы; изольется все.

— «Эй, ты, маленький мальчик...»

А маленький мальчик запрыгал па ряби: пропал; утекло — все, что было.

Ничего и нет: ря́би...

Что же это такое, что есть?

. . . .

Я, бывало, без мысли смотрю — в эту мутную глубину; и, бывало, без мысли смотрю —

— как из мутных глубин подтечет живородная рыбка; и — пустит пузырики; передернулась; нет ее: ря́би... Дробится и прыгает маленький мальчик на ряби: —

— Ах, рыбка его погубила: «Я» — маленький мальчик; меня, ах, меня — погубила она.

То, над чем я сижу, глубина: и она мне темна, и она мне мутна.

. . . .

Дерево изветвится, излистится...

Мне ветвя́тся, мне ли́стятся мысли...

Что-то такое я думаю: но кишит бестолковица... Какая такая — не знаю...—

— Вот он — «я»; вот он — пруд; пруд кишит головастиком, а сребреет — изливами...—

— изливается дума моя; и сребреет она предо мною; а не знаешь, что в ней.

Может быть...— головастики?

Вставали огромные орды под небо; и безбородые головы там торчали над липами; серброглазыми молньями заморгали; обелоглавили небо; кричали громами; катали-кидали корявые клади с огромного кома: нам на голову.

Это, спрятавшись в облако, облако рушили в липы — титаны; и подымали над дачами первозданные космосы: —

— рухнувших городов и миров: улицы, дома, башни — кремнели над ними; и грохотали пролетки...—

— Каменистые кучи облак сшибая трескучими куполами над каменистыми кучами, восставал там Титан, весь опутанный молньями: да, там пучился мир; да, и в бестолочь разбивались там бреды; и — толоклась толчея: —

— складывался толковый и облачный ком в мигах молний, с туманными улицами, происшествиями, деревнями, Россией, историей мира; и мировая история разгремелась над парками; и Титан, поднимая ее, точно старую быль, на нас гнался, врезался грудью в кипящие кущи; уже проходил он по парку сквозь листья; под тяжелой стопою Титана дрожала земля...—

— И я, тихий мальчик, увидев носимое — там, над нами,— бежал в темный угол; а папа бежал вслед за мною.

И — принимался нашептывать:

— «Это, видишь ли, Котенька,— гром...

— «То есть это...

— «Скопление электричества...»

Прощупи прежних лет шевелились во мне; бестолочь прежних лет громыхала...

. . . .

Помню раз: —

— обезвоздушилось все; и — душило меня; все притихло; вдруг: —

— заскрипели стволы; бурно хлынули главы; рванулись рои живолистых ветвей прямо в окна, треща и кидаясь суками; и — откачнулись назад; увидал там, в окошке, что Мрктич Аветович пробегает из чащи с распущенным зонтиком; утка хлопала крыльями; и крикливо сухой треснул звук: опустилась в кусты мно-

голетняя ветвь; и — повисла на белом расщепе: —

— белолобое облако подошло; белолобое облако хлопнуло частым градом: нам в стекла.

. . . .

В этот вечер гуляли; блистали нам слякоти; все проглядные дали иссинились тучами; некудрые тучи замазались в небе; и — шлепало стадо на нас.

Громкорогий пастух мне понятен: зовет за собою.

. . . .

Снова молнилась ночь.

Сверкания начинали подбрасывать ночь; глухонемая бессонница нападала, я просился к Раисе Ивановне: из постельки в постельку; и Раиса Ивановна поднялась: и босыми ногами она полусонно прошлепала — меня взять; я испуганно обнял ее; между белыми блесками падали темени; как рубашки, срывались с дерев, зеленя их в бесстыдную ясность; то пурпуровым, то фиолетовым лётом бросались от края до края летучие лопасти: каменистое тело Титана восстало; и над всем, там стояло...

. . . .

С той поры начались неизливные дни.

КУПАНЬЕ

Побежали купаться: —

— Раиса Ивановна, барышни, Нина Васильевна: с полотенцами, в сарафанах, по полю.

Бегу и я с ними; а кругозорное небо над — полем, глядится; работники: в белотканых, вспотевших рубахах тут ходят по грядам душистого сена с огромными вилами; в воздухе сыплется сено сухое, шершавое; быстрый рог длинной вилы мелькает по воздуху; мы бежим, а мужик — обругался...

Мы дальше: —

— тропинкою — в ольхи: под гору; тихохолмные брега зашершавились мохом; сереют нам издали крышей недымной деревни; песком прожелтился откос; и цветы, молочаи, на нем... вот — и засыпалось издали, в ольхи — все ближе; и вот — хлынуло холодом; над головой все рванулось; и — ясновзорные просветы бросились на летучих листах; и — рогатая веточка ходит единственным листиком над живою рекою: купальня; — туда —

— я, Раиса Ивановна, барышни, Нина Васильевна Вербова! —

— и говорят, что наружу они выплывать не хотят; восьмиклассник Щербинин с подзорной трубой залег прямо в ольхи; качается лодка; и переходные мостики — гнутся; и — рыбка пускает пузырик; тут в сухие дни — плесенеют круги; в водоливные дни — пузыри...

. . . .

Купаются все. А меня посадили на лавочку. Поснимали свои сарафаны; и поснимали рубашки; и — длинноногие, белые, ходят: полощатся, мочатся; мне отчего-то их стыдно; меня им не стыдно...

И, скрывая свой стыд, я кричу:

— «Ах, какие вы все...»

ВОСПОМИНАНИЯ О КАСЬЯНОВЕ

Воспоминания о Касьянове растворяют в себе воспоминания о людях, там живших в то время; изумрудные кущи кипят: и туда, в эти кущи, уходят — мне люди; бегаю к пруду я, где уходят стальные отливы под липы и ивы; и трескает в лобик сухое крыло коромысла; а однорукая статуя встала из зелени — стародавним лицом и щитом: на нас смотрит...

Под ней проповедует папе на лавочке, где ярко-красные розы,— Касьянов. Папа с ним не согласен, кричит:

— «Я бы все эти речи...»

И на него замахнулся он в споре своим дурандалом (корнистой дубиной, с которой он ходит) —

— впоследствии мама сожгла дурандал — потихоньку от папы; он в споре махал им; свою палку назвал папа мой дурандалом, производя это слово от «дюрандаля» — меча: (им сражался Роланд) —

— папа целыми днями, бывало, летает в огромных аллеях, махая своим дурандалом; это он возмущается: это все — различия убеждений; и натыкается на Мрктича Аветовича; Мрктич Аветович есть горбун в ярко-красной рубахе; Мрктич Аветович с папою не согласен; припирая к стволу его, папа мой раскричится:

— «Позвольте же...

— «Нет-с...

— «Что такое вы говорите?..

— «Да вас бы я...» —

— Мрктич Аветович —

— много лет

уж спустя я читал толстый том его: «Эра» —

— язвительно тыкает папу, блистая зубами под папой, огромной рукою — в живот:

— «Нет, а все-таки...

— «Все-таки...»

. . . .

Мрктич Аветович часто, увидевши папу, стремительно убегает под липы; приседая в кустах, он оттуда краснеет горбами; это — р а з н о с т и у б е ж д е н и й; «они» убегают от папы — в лесные убежища; и, убеждая «и х в с е х», потрясая своим д у р а н д а л о м, вспотевший мой папа за ними гоняется в кущах Касьянова.

РАИСА ИВАНОВНА

Затрясется матрасик под ней; и босыми ногами — к окошку; дырявая ставня скрипит под напорами ветра и света; покрывая волною волос, вся какая-то мягкая,— тащит меня за подмышки; над одеяльцем нагнется своим мыльным личиком; бегаем в одних рубашонках.

Как весело!

Завиваются легкие локоны легкими кольцами над ее легким личиком; и, со мною отпив молочка, выбегает со мною она — в росяпистые колокольчики, к лавочке: мне оттуда кивает; и собираем букет колокольчиков; Мрктич Аветович к нам подходит: себе попросить колокольчиков; колокольчик протянет она; Мрктич Аветович рад.

Мы все трое — на лавочке: шутим; Раиса Ивановна, не отвечая на шуточки, в зонтик уставится глазками; а — кончик зонтика ходит; закушена пухлая губка, дрожащая от улыбок, когда снимает с меня, жарящего им из песочка котлету,— мурашика: эта бледная ясность лица — мне мила; и Мрктичу Аветовичу — мила тоже; и он напевает тогда, что: —

«Из-под лодки плывут рыбки,—

«Это милого улыбки»,—

— а пёсинька, с холмика, изогнет свою спину и сядет на четырех своих лапах, что-

то силясь нам сделать: Мрктич Аветович опускает глаза; и краснеет Раиса Ивановна: мне это все — любопытно.

Такой смешной пёска...

. . . .

Бывало, передвигая тазы, мы сидим у жаровни; блистающий таз в пузырях; и Раиса Ивановна с ложечки мне дает желто-розовых пенок; и вот восьмиклассник Щербинин пристанет:

— «И мне пеночек».

А, бывало: на липовый листик положит она земляннички; и черною шпилькой уколется в ясные ягоды: кушает ягоды:

— «Мне бы...»

. . . .

— «И мне...»

Пристает восьмиклассник Щербинин.

— «Нет вам...»

. . . .

Мы любили, обнявшись, сидеть, протянув свои личики в зорьку.

Любили купаться (я еще не купался); она снимет кофточку, юбку, чулочки; и, остывая, болтает ногами; дает понять взглядом: ай, ай, будет — Бог знает что, когда с досок она прямо бросится в воду; и белоносная пена покроет.

Любили ходить по грибы; под кустами увидим, бывало, мы тугопучный березовик.

— «Мой...»

— «Нет,— мой».

Отбиваем его друг от друга.

Я ее обирал. Даже, раз она плакала; кузовок тяжелел: подосинники, яркие, на черных ножках, жемчуговые сыроежечки, желтяки, белоглавики в нем пестрели и пахли листами.

. . . .

МРКТИЧ

Мрктич Аветович, знаю,— добряк; Мрктич Аветович — весельчак; поднимает огромную руку к луне над горбом; и поет из аллей, встав на лавочку:

— «Ты, всесильный Бог любви,
«Ты услышь мои мольбы...»

И всем это нравится; и встает над Мрктичем Аветовичем красный месяц; чернеют горбы на дорожке; то — тени.

Таинственно...

. . . .

Мрктич Аветович возит нас всех — на пикник, он садится на козлы — высоко, высоко над нами; качает горбами; лошадь встанет, бывало: но Мрктич Аветович ни за что не прибегнет к кнуту; а обращается к лошади:

— «Милостивая государыня, лошадь».—

— И всем это нравится.

Нас везет на пикник: нам зажарить шашлык: и прочесть под луною молитву: армянскому богу; приехали: выгружают посуду, бутылки, пироги с грибами, паштеты; расстилают скатерть на травы; накидают, бывало, сухой и трескучий валежник; зачиркают спичками; куча покроется дымом; и — подкидными огнями; желтокрылое пламя заширится; и ясными лапами пляшет: мама снимет шелковый фартучек, полосато-пятнистый (и желтый, и красный) и Мрктичу Аветовичу перевяжет горбы она; Мрктич Аветович выставит черную бороду, и над огромным, теперь полосатым горбом — простирает свои волосатые руки в огни и распевает молитвы армянскому богу: над вертелом; дымы вздымаются; падают в поле хвостами; шар солнца блистает из них самоварною медью; уже любопытно зарница забегала в туче.

Мрктич Аветович в пламени там стоит; и чадит: шашлыками.

. . . .

Смутно помнится мне: —

— уж колотится колотушка; края тихорогого месяца ясно прорезались в ветви; на ясные дали разрезались мраки; взошла колоколенка; знаю я —

— завывают собаки под дачами: у потайной ямы, в бурьяне, толкается кучер Федор с Дуняшею нашею, а колючие ежики бегают по аллеям; их тронь: станут шариками; над могильным крестом возникает полковник Пупонин; фосфорически светится он; и несется в кустах... на касьяновский парк...—

— Мрктич Аветович, обнимая меня, убеждает меня, что нисколько не страшно; и говорит:

— «Вот Иванов-жучок».
Приседаю на корточки я.
Убеждения наши сошлись: мы — друзья.

ОСЕНЬ

Дни летели в дожди, в желтолистие.

Залетали синицы; красногрудая пташка, тиликая, перестала метаться за мошкою на стене белой дачи; трещали сороки; пироги с грибами пошли; у камина гляделись в огни — в смолянистые трески ветвей; отсырели углы нашей дачи; пооткрывались болезни желудка; пооткрывались болезни седалищных нервов; и любовались осенним осинником: он — красноглавый.

Порасставились дощатые ящики — с сеном: огромные банки и склянки туда опускались; из поредевших ветвей выкруглялся откуда-то — клинский вокзал: красным куполом.

. . . .

Как случилося это — не помню, но помню последствия «случая»: мы стояли растерянно перед множеством полинялых, синих пролеток, перед множеством рваных, синих халатов, отчаянно подпоясанных красным и на нас громко лаявших из-под лаковых рваных шапок:

— «Со мной, барыня...»

— «Со мной...»

— «Вот извозчик...»

И — мостовая гремела.

«С л у ч а й» этот мне помнится: и мы вернулись в Москву.

. . . .

Удивляемся мы с Раисой Ивановной тесноте наших комнат; передо мной на ладони квартира: очень тесненький коридорчик и ползающий по стене таракан: очень тесная детская.

Та ли это Москва?

Не отсюда уехали мы: мы уехали из огромного мира комнат: он рухнул.

Вспоминаем Касьяново мы. И мы слушаем музыку.

ГЛАВА ПЯТАЯ

РЕНЕССАНС

Ему и больно, и смешно,
А мать грозит ему в окно.
А. Пушкин

ИЗ КРОВАТКИ

По утрам из кроватки смотрю: на букетцы обой.

Я умею скашивать глазки (смотреть себе в носик): и уж стены, бывало, снимаются — прилипают мне к носику; пальчиком протыкаю я их: легко и воздушно сквозь стены проходит мой пальчик; туда бы просунуть головку: стена непроглядна.

Моргну: —

— перелетают все стены на место; и там они — тверды. Действительность, обстающая мне меня,— такова: отвердевает она; изощряюся в опытах; передвигаю действительность; пятилетие обстает меня опытом; мне в трехлетии опытов не было; были строгие строи. Я — художник действительности: в трехлетии я художник «т р е ч е н т о»: копирую строи; четырехлетие — «к в а т р о ч е н т о»; и новые опыты жизни встают; и вопрос перспективы (смещение зренья) мне жив; вспоминаю картины за нами стоящей вселенной; все кто-то там меня ждет; все оттуда моргает: синеющим оком —

— из желто-лилового центра: под веками.

«О н» — придет и возьмет: уведет; времена на исходе.

Я каждое утро жду встречи. В окне —

— снегометы бело и неяро летят переносными стаями: легколистая снегопись серебреет на окнах.

ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ДРЕВНЕГО МИРА У МЕНЯ ЗА СПИНОЙ

И — подкрадутся: тысячелетия древнего мира — в т и х и й ч а с, за спиной; как хотелось бы мне обернуться — подсматривать: тысячелетия древнего мира; у меня за спиной — все, бывало, дрожит; и, как будто, грохочет: провал в иной мир; и миры меня ждут,— у меня за спиной; тысячелетия древнего мира подкрались; —

— повертываюсь:

— вместо пролома в стене — этажерочка (та же!) стоит себе; и на ней — строй солдат: оловянные гренадеры мои серебрятся мне лицами... васильковые стены — за ними: —

— тысячелетия древнего мира гремят за стеной; все предметы смещаются; и — удивляюсь я, что я — «Я»: все вывернуто наизнанку; и — я сместился с себя; все развилось преждевременно: развилось — ненормально...—

— и ненормально я развит...

. . . .

Пятилетний, я знал уже: —

— земля — шар;

гром — скопление электричества;

американец гуляет под нами; и — кверх ногами...—

— Мамочка, бывало, целует; вдруг заплачет она; и — откинет меня:

— «Он не в меня: он — в отца...»

Начинается про меня разговор; и — разгорается спор: говорят о летаевских — лбах, носах, подбородках, раскосо поставленных глазках; мне позор: у меня — летаевский лоб; —

— все Летаевы светлонравные, благородные люди: —

— позор: у меня раскосо поставлены глазки.

Плачу я под окном — в горизонт, а горизонт — ясновзорен: на стекле, вот на той стороне, поуселися точки алмазиков: а вот на этой — плаксиво расплющился носик (разве я виноват?); за алмазиками красноречиво перелетают снежинки; и — каждая — множится: вертит, чертит спирали; и — новый алмазик: у самого носика: разве я виноват, что —

— умею показывать я цепкохвостую обезьяну в зоологическом атласе: и — двуутробку с ленивцем? Разве я виноват, что я слышу от папы:

— «Дифференциал, интеграл»?

Из снежиночек мне розовеет уж дом Старикова; саночки — пронеслись; и знакомой фигуркой стоит — городовой Горловасов.

Разве я виноват, что я — знаю: —

— папа мой в перепис-

ке с Дарбу; Пуанкарэ его любит; а Вейерштрассе не очень; Идеалов был в Лейпциге: с... эллиптической функцией; очень ею доволен; живет с ней; и ходит: о ней разговаривать.

Удивляется ясноглазое небо (днем оно — ясноглазо); оно — строит мне тучи; и — образуются строи; образование — меняет мне все...

Знаю я: —

— придет Притатаенко: Притатаенко-Головаенко,— круглоусый, курносый: маловласый, обглоданный; придет Василисимов: благодарить нас за что-то; и — пальцами повертеть на животике: мамочка зазевает; они — уморивши ей мух, остужают нам воду...

Папа маме на это:

— «Оставь!»

— «Василисимов, знаешь ли, умница... Василисимов, знаешь ли, он — написал диссертацию: о сходимости несходимых рядов...»

— «А что он скучноват, так ведь он и не Блещенский: это Блещенский сгорает от пьянства; Василисимов — вычисляет...»

И — уж крадутся — у меня за спиной, из пролома в стене (меня ждут!); и повертываюсь — головастый Брабаго с великолепным Нелеповым склепным голосом спорит и... ковыряет в носу; папа с ними уже интегрирует; и — пошли: конгруэнты; — все сместилося; все пошло наизнанку: преждевременно развилось; и — ненормально ужасно; громыхают булыжники слов; а — Брабаго сидит, а — Брабаго молчит; это-то и есть — математика; папа мой — математик.

— «Он не в меня: он — в отца!»

Это кажется мне ненормальным: и — странный мир поднимается во мне — из меня: набегает во мне — на меня самого.—

— Как же так?

Кто тут «Я»? Я — не я: я — не Котик Летаев! —

— это-то

вот и есть преждевременно развиваемый математик: второй математик...

Гуще снежные хлопья; и — гуще: повалили, посыпали; настоящие, кипящие белояры; ничего не видно за стеклами; а уже — редеет, редеет; и — чисто; оборвались все снега; пооткрывались над улицей синие шири; пооткрыва-

лись за крышами светлокрылые блески; в синей шири проносятся облака-белоцветы; и уходят в стеклянной прозрачности красноперыми гребнями.

Там — возжение блесков; там — блески над блесками; я — ничего не пойму: —

— и утекаю на кухню: к Дуняше; она — молодая, красивая; жарко она принимается: обнимать, целовать — в лобик, в глазки и в губки; мне стыдно.

Разве я виноват, что мне весело в кухне? Городовой Горловасов был у нас недавно на кухне, в тулупе; и с — двусмысленной рожицей на носу; он проделал нам бестолочь: пол толок сапогами; толоки раздавались мне после: пол толок Горловасов: —

— расторговался он красными кумачами; паяцы его покупатели: —

— вон-вон-вон: —

— он, он, он! —

— городовой Горловасов постаивает там знакомой фигуркою: из башлыка торчит его нос — на перекрестке Арбата.

. . . .

«МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК»

Утро: девять часов; а не то — половина десятого; самосыпною искрой трещит самовар.

Я — и папа.

Он едет на лекции.

Лекции — линии листиков; и по линиям листиков — лекций — летает взгляд папы; папа водит по ним большим пальцем; защелкав крахмалом сорочки, свирепо он рявкает:

— «Аа... Так-с!

— «Так-с...»

Это — иксики, игреки, зетики... таксики; таксиков я встречал на бульваре.

Думал я: —

— из лекционных тетрадочек «иксики» прорастают ростком: зеленеющим, лепечущим листиком — из набухающей почки; деревенеют жердями; и торчат себе после... оставленным молодым человеком: при Университете, для папы: —

— папа

сеет их сеточкой, при помощи карандашика, на бумаге; и — согревает дыханием; сеточка начинает расти, зеленеть: —

— и выгоняется «молодой человек», развиваемый папою: так выводятся в парниках: огурцы!..

. . . .

«Молодой человек» — просто выросший иксик: «молодой человек» ходит к нам; и молодой человек соглашается с папою.

— «Вы, молодой человек, вот еще почитайте»,— старается папа.

И «молодой человек» соглашается тотчас же:

— «Я, Михаил Васильевич, уж давно собираюсь...»

Папа же его перебьет:

— «Почитайте вы о сходимости несходимого ряда...»

— «Вот-вот именно: о сходимости ряда...»

— «И о прочих рядах...»

— «И о прочих рядах...»

. . . .

И не то наша мамочка.

— «Вот бы, Лизочек ты мой, почитал: о сходимости несходимого ряда...»

— «Ну, нет: ни за что!»

. . . .

Университет мне известен; известен оставленный там «молодой человек»; университет — папин дом; молодой человек — папин служащий, как и «педель» с медалью, Скворцов; он, бывало, все ходит с бумагой; и у него — бакенбарды; «молодой человек» — чином ниже; —

— папа с ним очень вежлив и добр: говорит ему «вы» и не «тыкает», как меня и как мамочку; папа вежлив с прислугой, а мамочка говорит ей все «ты»; и поэтому мамочка —

— проходя чрез столовую, видит: «молодой человек» там сидит, перебирает неловко руками и ими, краснея, мнет шляпу, привстанет, отвесит поклон, станет вовсе малиновым; мы бросаемся с папой спасать его: тащу ему — сломанный слоник; а папа ему поднесет стакан крепкого чая; «молодой человек» все, бывало, дрожащею, потной рукою мешает в нем сахар; другою рукой держит слоника; я хочу его звать с собою — под стол: расставлять со мной кубики.

Меня поражает рисунок: —

— широкая, черная ваза подъята с подставки овалом; она — полуэллипсис; полукруг, купол храма — я знаю; а полуэллипсис поражает меня; и мне хочется плакать, смеясь —

— на овале вазы гирлянда из скачущих дяденек клинобороденьких, желто-карих; выразительно приподняв факелы, из них двое откинулись, меча диски; все — с хвостиками...—

— Это —

было.

Нет — было ли? —

— и не могу оторваться от вазы; дяденьки в черном: они — в темноте; темнота — коридор; желто-карие дяденьки — все! — побегут в коридор с факелами — из стран, где я был до рождения; коридор, начинаясь оттуда, кончается в комнаты; желто-карие дяденьки не гнали меня (это было... когда-то); мой дяденька (все зовут его Ерш) с клинообразной бородкой к нам ходит с портфелем под мышкой: у него там припрятан и диск, он живет — в полуэллипсисе...

. . . .

Косяк пурпура — на стене; и косяк — на полу; папа что-то там чертит на листиках: побормочет, почертит, привстанет; и — разогнувшись, ревнет:

«Глядя на луч пурпурного заката».

Краснокрылые косяки — на стенах, краснокрылое облако — в окнах; там — закат, на который глядят; и с которым уходят в никогда не бывшее образом; о б р а з, п а м я т ь о п а м я т и, встанет, и вот —

— Афанасий Васильевич Летаев, присяжный поверенный (дядя Ерш), к нам покажется из темного перехода, выдвинув ястребиный, отточенный нос,— клинобородый, язвительный, желто-карий,— в золотых очках; из Окружного Суда отобедать, и на столовых тарелочках возникают ломтики пеклеванного хлеба; и я думаю: —

— Окружной Суд — окружность; ок-

ружность и шар суть гармонии; полуэллипсис — ваза...

И — падают в комнаты легкотенные темени. Дядя Ерш будет с папою долго гоняться в пурпуровых заревых косяках: от угла до угла; папа — кряжистый, невысокий, темнобородый, курносый,— очки подопрет двумя пальцами и живоглядно уставится снизу вверх на Ерша, полуприсядет; вызовет память о прошлом; и — точно хочет подпрыгнуть:

— «Ты бы, Ершик, да знаешь ли, Ершик: ты бы им, братец мой, показал...»

Думаю: дядя Ерш из портфеля повынимает теперь свои диски (гармонии сферы)...

А каренький дяденька, закусивши кусок бороды, как привскочит на цыпочках на черном фоне пьянино; зафыркает носом на папу:

— «Ух, ух, ух!»

— «Я, я, я, я...»

— «Ух, да он!»

— «Да она!»

— «Ух, да я!»

. . . .

Преображение памятью — чтение: за прежним стоящей, не нашей вселенной: —

— я жду: —

— из-под желтого дядина пиджака вытиснется быстро бьющий, мохнатенький хвостик; думаю — будет пляска; и жду — вот уж схватят подсвечники, расставивши уморительно руки, все припустятся друг за другом: подпрыгивать, как...—

— фигурки мной виданных желто-коричневых дяденек; из подсвечников вылетят пламеньки —

— и в блещущих ритмах забьет страна ритма, где пульс ритма блесков — мой собственный, бьющий в стране танцев ритма и образующий мне проход в иной мир; существа иной жизни свободно пройдут к нам в квартиру: дяденька появился уже; и он, знаю,— юмор: все его поведение таково, как будто бы он старался из воздуха сделать «Ю» или его изваять: горельефной гирляндой; «ю-ю-ю» — юкает он, бывало, очками; если б все начертания пооседали б из воздуха — на кусочек бумаги, то был бы рисуночек —

— черной вазы, которую бы

размашисто окаймили гирляндой — клинобородые дяденьки с факелами, мечами и дисками.

. . . .

Я впоследствии узнаю хорошо: здание Окружного Суда... с полуэллипсисом на крыше.

МУЗЫКА

Музыка — растворение раковин памяти и свободный проход в иной мир: и — открылось мне: —

— все, везде: ничего! —

— мне и грустно, и весело; я ищу под подушкою, под диваном, под креслом; но подобия — пусты: —

— в с е, в е з д е: н и ч е г о! —

— без глаз моргало мне в душу; и комнаты — как аквариум; окна — выходы в небывшее никогда; можно из них выплывать; и — черпать гармонию бесподобного космоса; п а м я т ь о п а м я т и — такова; она — сладкий ритм; она — садилась в пьянино; водилась в пьянино; и раздавалась — нам в комнаты.

. . . .

Я однажды увидел, как старый настройщик снял черную крышку пьянино; открылись — миры молоточков; бежали; и настучали мелодию: —

— «Да-да-да!»
— «Да-да!»
— «Все — я-я!» —

— Так этот старый настройщик — н а с т р о и л: на бытии — бытие; «все течет» Гераклита соединилося с Парменидовским постоянством: в пифагорову гармонию сферы; и открылся мне путь —

— к идеальному миру Платона! —

— Под руладой сижу: немой мальчик; и — плачу; и пытаюсь все ручкой поймать мою свободу в «д а — д а»; несутся багровые окна; и из багровых расколов блистает мне золотом:

— «Ты — был сир... Пришел — «Я»!

Впечатления первых мигов мне — записи: блещущих, трепещущих пульсов; и записи — образуют; в образованиях встает — что бы ни было; оно — *образовано*; образования — строи. Образование меняет мне все: —

— молниеносность сечется и образуется ткань сечений, которая отдается обратно, напечатляяся на душе вырезаемом гиероглифом, и —

— я теперь — запись!

Но точки моих впечатлений дробятся —

— душою моею! —

— и риза мира колеблется (я потом ее не колеблю); по ней катятся звездочки законами пучинного пульса, и безболезненно гонится смысл —

— любого душевного взятия, то есть *понятие* —

— метаморфозами красноречивого блеска, где точка, понятие, множится многим смыслом и вертит, чертит мне звенья —

— кипящей, горящей, летящей, сверлящей спирали: объясненья — возжение блесков; понимание — блески над блесками, образование блеска блесками, где ритм пульса блесков — мой собственный, бьющий в стране танцев ритма и отражаемый образом, как *память о памяти*.

Впечатление — воспоминание мне; воспоминание — музыка сферы; воспоминания меня обложили; воспоминания — ракушки; вспоминая, я ракушки разбиваю; и прохожу через них в никогда не бывшее образом; вызывание образов прежде бывшего — припоминание той страны, по образу и подобию коей прежде бывшее было; припоминание — творческая способность, мне слагающая проход в иной мир; преображение памятью прежнего есть собственно чтение: за прежним стоящей, не нашей вселенной; впечатления детских лет, то есть память, есть чтение ритмов сферы, припоминание гармонии сферы; она — музыка сферы: страны, где —

— я жил до рождения! Вспоминаю: возникают во мне соответствия —

— и в мимическом жесте (не в слове, не в образе) встает *память о памяти*,

пересекая орнаменты мне в собственный жест мой в стране жизни ритмов: там был до рождения я.

Память о памяти такова; она — ритм, где предметность отсутствует; танцы, мимика, жесты — растворение раковин памяти и свободный проход в иной мир.

Воспоминания детских лет — мои танцы; эти танцы — пролеты в небывшее никогда, и тем не менее сущее; существа иных жизней теперь вмешались в события моей жизни; и подобия бывшего мне пустые сосуды; ими черпаю я гармонию бесподобного космоса.

ПАПИНЫ ИМЕНИНЫ

Помпул захаживал редко, являяся в папины именины: в Михайлов день, в ноябре.

Я впоследствии вспоминал этот день: многорогая вешалка полнилась шубами: грохотала столовая, туго набитая профессорами и членами всевозможнейших обществ; поминутно звонили — входили: седые и молодые сюртучники; то, бывало, войдет полногрудая дама; с ней плоская девочка (делая низкие книксены), то — неславный пиджачник, то — «Лев», молодой человек, перекрахмаленный: щелкает грудью; и папа усадит: полногрудую даму, пиджачника, «перекрахмаленного щелкача» за уставленный закусками стол; то появится модница: серое, тонкое платье с огромным турнюром, в боа, в меховой шляпчонке, с наперсточек; и — с огромнейшим током; приходил даже раз многобитый нахал с поздравлением папе; и был нами не принят; приходил попечитель Учебного Округа: граф Капнист; приходили тогда и иные к нам — именитые гости; кудрокрылый, седой Николай Алексеевич Умов, присылающий торт: преогромный калач; Алексей Николаевич Веселовский, блистающий голубыми глазами и важно текущий меж стульями; Матвей Михайлович Троицкий, написавший «Науку о духе»: в синем, форменном фраке, с огромной звездою: улыбчивый, белоусый и потирающий руки; садился за стул; и нежно плакался голосом и замыкался в свое самодушие над куском пирога. Очень грузный и пышащий дымом Сергей Алексеевич Усов, хрипя и махая рукой, подымал бурю смеха: он подмигивал мне; я глядел все на родинки; и — однажды воскликнул:

— «А скажи-ка мне, мамочка: почему это выросла земляничка у «крестного» на лице?..»

На меня замахали руками: Сергей Алексеевич не растерялся; и — прохрипел на весь стол:

— «Это — что... Вот однажды к лицу поднесли мне младенца... А он, знаете, рот открыл, да и тянется, тянется... Чуть не схватил меня губками...»

— «Это — что...»

И Сергей Алексеевич Усов, намазав французской горчицей кусок, перевернется на стуле: проявит свое быстродушие перекидным разговором; и бросает им всем неизмятое мнение; он — возжаривал мнения; и пускал их волчками; и мнение начинало кружиться; и — возвращалось обратно; он его убирал; многоносое любопытство стояло, когда из дверей появлялся, круглея чистейшим жилетом,— к нам Тертий Филиппович Повалихинский, которого называли они «парижанином» и который был «мамин шафер»: он, бывало, меня приподнимет и мягко посадит себе на живот (я его надавлю); в это время мне почему-то казалось, что прячется он, что его укрывает Москва (вся Москва!); и я думал: хорошо ли стирают там пыль под диваном, где прячется Повалихинский (прячутся — под диваном: и все это знают!); должно быть, стирали, потому что Тертий Филиппович Повалихинский непосредственно из-под дивана являлся к нам завтракать таким надушенным и чистым; похахатывал, брал меня на живот и, разжевывая своими, как сливы, губами кусок именинного пирога, увлекательно передавал впечатленья о завтраке с профессорами Сорбонны и сказанной «пикуле» (путал я: спич и пикули).

Вот тогда-то к нам появлялся и Помпул, в наушнике, и с какими-то трубными звуками —

— «Бу-бу-бу: по штатиштическим данным... бу...» —

— он входил: в полосатом и желтом, с двумя желтыми баками, как подобает расхаживать «англичанину», побывавшему в Лондоне и сломавшему ось пролетки (я напрасно боялся его: он был нежной души человек); появлялся он под-данным, то есть: с Анной Петровною Помпул; Христофор Христофорович был верноподданным Анны Петровны, которую называл кто-то данным: то есть Помпулу данным; он садился за стол, пережевывал свой кусок пирога (с рисом, с рыбой, с вязигою) и рассказывал: —

— как ему вырвал врач: вместо дуплистого зуба — здоровый и

крепкий: —

— а во мне начинается: —

— вращение набухавшего смысла: в никуда и в ничто, которое все равно не осилить мне в водоворотном грохоте слов, темнодонных, бездонных, среди плясок ножей на тарелках, в тарарыканье передвигаемых стульев —

— набухание смысла, гонимого «светочами» всевозможных отраслей знаний, имена которых впоследствии видывал я напечатанными жирным шрифтом во всех повременных изданиях: —

— и проходил я в гостиную, где стояли столбы коромыслом сигарного мнения: в папиросницу, в пепельницу и в красные кресла, отделанные американским орехом, где тоже сидели все светочи, но... откушавшие свой пирог и опроставшие место; не понимаю и тут: смысл всего темен мне; но понимаю я жесты движения горластого дымогара; и, уплотняя словами те жесты вне их яснящих значений, я бы выразил их приблизительно так, если б мог выражаться: —

— умозрение, выплетаяся, виснет словами и дымом из славного рта; и сплетается с умозрением; многозрение умозрений осядет на креслах табачною копотью, став всезрением мнений; и отлагаются в воздухе бледноречивые, стылые стразы; скучают: и, поглядев на часы, гость за гостем, приподымаясь, кряхтит, говорит: —

— «Мне пора...»

И отправляется под карнизы имперского здания: —

— поддерживать грузы там.

. . . .

Вот, бывало, Покров; вот уж замелькали снежиночки; Пелагея Семеновна Мозгова заказала себе выездное, зеленое платье; князь Носатинский не купается; в Университете готовится бунт; и Михайлов день катится: на санях из метелицы.

Жду я — Помпула: будет он говорить нам о зубе.

. . . .

Повалихинский, Помпул и Усов — еще мне не люди, а ощупи: космосов... Гуманизма; приоткрывают завесу

они; указуют они... на зарю; оттого-то они предстают мне впервые в эпоху, когда от меня отступают куда-то: мои стародавние бреды; и начинает блистать — р е н е с с а н с...

Я впоследствии их узнаю как людей; но впервые они вырастают из сумрака титанически иссеченными в камне на портале огромного Здания: Гуманности и Свободы; там они мне висят: кариатидами Вечности — в дочеловеческих формах; они мускулистой рукою сжимают увесистый светоч: и ударяют противников просвещения: мраморным пламенем.

Перевивы орнаментов, арабески, гирлянды и вазы, полные каменных виноградин,— дары; и они предлагают их мне; я предчувствую: не оправданны на меня их надежды; увы — отвернутся они от меня; и поэтому я —

— с опасением созерцаю: —

— кариатиды подъездов, орнаменты грузных карнизов; и — статуи: бюст Ломоносова черен и строг; я его где-то видел.

СНОВА ОБРАЗА

Вот подобие моей жизни с Раисой Ивановной: —

— если б мог я сказать, то сказал бы я так: —

— перед нею проходит настройщик, снимает рояльную крышку; блистают миры молоточков; и разливается море руладой рояля,—

— где, как соль, растворяются желтые плитки паркета и начинают кидаться волнами о стульчик, откуда склоняюсь —

— и вижу: —

— самую подводную глубину — с двумя докторами: доктор Пфеффер и Дорионов в образах, покрытых щетиною рыбохвостых свиней, мелодически плавают там на серебряных плавниках и лысинами старательно роют подводный песочек: —

— вместо кресел — кораллы там; вместо столиков — гроты; и вместо пепельниц — перламутры; там брызжут фонтанчики: словом — аквариум: —

— там залегает в песках аксолотль, дядя Вася; под переливными дишкан-

тами, на глубочайших басах, Артем Досифеевич Дорионов, там, упирая под боки кулаки, припустился резво за бриллиантовой рыбкой; и, не догнавши, пускает пузырики кроворотою мордою; и — потом: он винтами подносится кверху, чтобы высунуть мокрый нос, им уставиться на меня и добродушно побрызгать алмазным фонтанчиком, перевернуться и нежиться розовеющим животом —

— и потом: —

— он пизрипется в темноводные заросли: залегать в этих зарослях и разгрызать слизняков: —

— Так

слагались мне звуки, бывало: темнеет; и я проседаю — во мраки с кроваткой и спинкой; Раиса Ивановна издали зачитала под лампой; дремотно; в ресницах развернуты лучики: белоснежными блесками крылий; там — лебеди: — звуки: переливаются по лазури они; ничего не пойму: —

— то серебряный старичок, в парике, в лепестистом небесном камзоле, бежит по аккордам на туфлях, смеяся и плача; и на ходу принимается кушать печеное яблоко он; мне — старинно, смешно; я его узнавал и потом.

На аккорде споткнется: и бухнет с размаху — он в мраки молчаний; и, упадая, рассыплется гранями горных хрусталинок и дишкантовою фугой...

А то разразится из ночи весенняя буря; из седопенных дождей зеленеет нам молнья: —

— мне все кажется, что я — в воздухе, на распластанных крыльях; переливаюсь в лазурях (и — струнно; и — струйно); и перья, как пальцы, сияньем проходят по ним; я... заснул.

. . . .

Это все вырастало из звуков: кипело, гремело, рыдало, носилось, блистало...

. . . .

ЕЛКА

Если бы всему тому — смёрзнуться, то ретивые ритмы бы стали ветвями; а бьющие пульсы — иглинками; там стояла бы елочка; все мелодийки из нее вырастали игрушкой; из трепещущих, блещущих звуков сложились бы нити и бусы; а из кипящих, летящих аккордов — хлопуш-

ки; застрекотали бы ломкими бусами хрустали дишкантов; а басы бы надулись большими шарами из блесков; да, мелодия — елочка, где дишканты — канитель, а объяснение звуков — возжение блесков над блесками; Дорионовы, рыбы, гоняются там за орешками; риза мира — там; и риза мира колеблется.

Если сесть в уголок и прищурить глаза,— разрастается все это звучно; и трепещущий, блещущий мир восстает; и гоняются красноречивые блески в яснейших спиралях; и сединится в ясностях старец; и весь он — алмазный.

. . . .

Помню я: —

— самозвучные половицы скрипели; там от меня запирались: стучались; в столовую озабоченно пробегали: Раиса Ивановна, мама и папа: с пакетами; расставлялись там кресла; и думал я, что губастые рожи, арапы, уж там: учреждают «вертеп»; я не спал в эту ночь; к вечеру собирались к нам гости; дети Ветвиковы подразнили меня перед запертой дверью; явился мой папа; и распахнул быстро дверь: — в эту комнату блесков, где в сияющей ясности, из свечей и ветвей рисовались мне блага и ценности... неописуемых, непонятнейших форм; и уже заиграли кадриль; и уже откуда-то ворвались к нам губастые рожи (две маски); и сам папа мой, переряженный, появился за ними в енотовой шубе; и — в бумажной короне; велел взяться за руки; ходил вокруг «елки»: мы ходили за ним. После я присел в уголок: и смотрел на алмазную куколку, Рупрехта; белоглавая, все-то она там глядела из нитей — задумчивым взором: как память о памяти; мне казалося, что на миг явилась та самая Древность, в сединах; мне казалося: человекоглавое серебро — растечется; и встанет: огромный старик, весь в алмазах; отслужит обедню; тут меня приподняли к нему; и я сам оторвал от ветвей мою куколку, Рупрехта.

РУПРЕХТ

Рождество прошло быстро.

Хлопнули все хлопушки. И орехи разгрызены; и бусы раздавлены; золотая картонная рыбка расклеилась: пополам; уцелел только Рупрехт.

Я поставлю на печку его: на меня он уставится с печки; он уставится, через кресла, на стол, на паркеты, ков-

ры. Я поставлю под кресло его: и — глядит из-под кресла. Я его уберу: его — нет; почивает в кардоночке; но все ждет его: умывальники, кресла, шкафы меж собой говорят:

— «Ушел Рупрехт...»

. . . .

Наша квартира есть память о той стороне, где я не был; в ней — не бывшее никогда оживает; и Касьяново — в ней; на этажерке фарфоровый пастушок разговорился с пастушкой... о Рупрехте (где-то он?); а уж Рупрехт алмазится издали: он уж их видит; он — помнит: нет, он никогда не забудет.

Будет, будет:—

— похаживать одиноко в огромнейших комнатах, вмешиваясь в события нашей жизни; он — покажется здесь; и — покажется там; и даже пройдет по Арбату, замешавшись в толпе; его видели в кондитерской Флейша; и в булочной Бартельса; может быть, это — он; а может быть,— это папа (у папы огромная шапка и шуба: у Рупрехта — тоже); может быть, никакого и не было Рупрехта:—

—Вот он, вон: одиноко стоит там на полке; и слушает слухи о... Рупрехте; и слушает он мои мысли о нем... Был ли он на Арбате? Этого не расскажет он мне: никогда не расскажет.

МИФ

Куколка затерялась моя; но я верю в нее; мне Раиса Ивановна шепчет, что бегает вечерами мой Рупрехт — по замерзшим носам: надирает носы; в пустой комнате, там,— он стоит, половицей скрипит; и недавно насыпал серебряных рыбок: в почтовые ящики.

Я прошу показать эти рыбки, настаиваю, а Раиса Ивановна меня уверяет, что он бегает в вислоухой, енотовой шубе и в шапке из котика; и я забываю про рыбок.

И — начинаем мы говорить, что...—

— за Арбатом кончается все (знаю я, что не так это; и все-таки — верится); «Безбардис» — последнее торговое учреждение; санки, конки, прохожие, как только вылетят за Арбатскую площадь — у Безбардиса стараются повернуть; и вернуться обратно, чтобы им не низвергнуться...—

— Под

тротуарами, за Безбардисом, —

— на кубовом небе! —

— все свечечки, свечечки, свечечки; и горят себе, точно звезды: это свечки огромной, разросшейся елки, которою —

— елкою! —

— мировой старик, Рупрехт, точно звездными небесами, подпирает... Арбат.

. . . .

Помнится: —

— раз идем по Арбату; навстречу нам — папа; путаясь в полах огромной, енотовой шубы с полуизорванным рукавом — набегает на нас он, толкая локтями прохожих, — в огромнейшем меховом колпаке, из-под которого выставляется веточка ледорогих сосулек — на огромном серебряном усе; над усом торчит красный нос; на носу — два очка, и это все — добродушно ушло в шерсти меха (и точно не папа, а... Рупрехт); глядит — и не видит; вместо елочки прижимает к груди очень туго набитый портфелик; за папой вдогонку — с углов, переулков, с Арбата, — отставая, перегоняя и полозьями натыкаясь на тумбы, несутся извозчики; хлопают рукавицами и кричат:

— «Михаил Васильевич...»

— «Барин...»

— «Со мною...»

— «Недорого...»

— «На Моховую на улицу...»

— «Довезу вас скорехонько...»

Мы — кидаемся к папе.

Какое там!

Разве папа нас видит? У него запотели очки: он стремительно пробегает, толкая прохожих и нас — полуизорванным рукавом своей шубы: со сворой извозчиков.

И вечереет Арбат.

По вечерам — тихолюден Арбат (не такой, как теперь), быстроцветные огонечки моргают; синеют все стылые ясности, оплотневая в туманность; туманность — чернеет.

. . . .

Папа бежал к «Безбардису».

И вот думаю: —

— что он, и свора извозчиков будут

скоро низвергнуты: в никуда — за «Безбардисом»: и снова появится папа — из-за «Безбардиса», с кардонками; из кардонок нам выложит всем: яства, сласти, подарки; совсем папа Рупрехт; и оба они... как попы.

. . . .

Музыка научила, играя, выращивать сказки; и вырастали все сказки — еловою порослью: угол кресла — скала; и на него я вскарабкаюсь; я на нем — великан; и мне зеркало — водопад.

«Рупрехты»: —

— это вот... как —

— жизнь во мне звука; но жизнь звука во мне — не моя: принадлежит она миру звука, который во мне опускается: мной играть, как бы... клавишем; переживши тот звук, пережил я его не в себе, а в существе страны звука, в которую был приподнят — не вовсе, а до открытой возможности (двери!) подсмотреть звуковую квартиру со всеми домашними принадлежностями комнат звука; я их не успел рассмотреть; и по образу и подобию копии комнат в моем впечатлении тотчас же сфантазировал: образ; и этот образ себе начинаю рассказывать я; и рассказик мой — сказочка; мои сказочки, собственно говоря, суть научные упражнения в описании и наблюдении впечатлений, которые отмирают у взрослых; впечатления эти живут и во взрослых; но живут за порогом обычного кругозора сознания; сознавание взрослого занято кругом иных впечатлений: в них втянуто; потрясение иногда, отрывая сознание от обычных предметов, погружает его в круг предметов былых впечатлений; и — возвращается детство.

Только этот возраст — по-иному.

. . . .

Игрушки — аккорды; на аккордах мы ходим; аккордами входим; в таимые комнаты смысла.

Мы с Раисой Ивановной безбоязненно отворяли все двери; и — проходили по всем звуко-комнатам; двери нам открывались; и выходили на «Рупрехты».

Прохождение комнат — игра: мы, играя, — вернемся.

Университетские «люди», бывало, со страхом косились на мамочку; со страхом ходила к ней в спальню по вечерам Афросинья-кухарка: со счетною книгою; мамочка примется: уличать Афросинью, а папочка примется: выручать Афросинью, а Афросинья-кухарка молчит; и на меня покосится (будут ужасы в кухне!): папочка, — крадется с толстым томиком к дверной щелке: подслушивать мамочкины недовольства кухаркой, чтобы потом, в нужный миг, повыскакивать из-за двери — спасать Афросинью.

— «Знаешь ли, Лизочек,— оставь ее!»

А пока же скрипит половицею у приоткрытой он двери; виден: — мамочке, мне и Афросинье-кухарке: просунутый папин нос; и на нем — два очка.

Мама хмурится: Афросинья-кухарка смелеет...

Дрожу я: —

— будет, будет нам крик; Афросинья, — она на весь дом прошипит нам котлом; и разговоры подымутся — с тетей Дотей и бабушкой...

— «Михаил Васильевич: чудак, эгоист!»

— «Не в свои дела сует нос...»

— «Мне он портит прислугу...»

Через два часа после другие уже разговоры:

— «Михаил Васильевич чудак: идеалист!»

— «Светлая, гуманная личность...»

— «Простяк он, ребенок...»

. . . .

Самое страшное начинается: мамочка, разгасяся, меня оттолкнет от себя; и со слезами в глазах обращается к бабушке:

— «Тоже с Котом вот: преждевременно развивает ребенка; воспитание ребенка — это дело мое: знаю я, как воспитывать... Накупает все английских книжек — о воспитаньи ребенка... Ерунда одна... Нет, подумайте: пятилетнему показывать буквы... Большелобый ребенок... Мало мне математики: вырастет мне на голову тут второй математик...»

— «Ах, да что ты...»

— «Да что вы...»

Я же тут, уличенный в провинности, начинаю дрожать; одиночество нападает: все кажется хрупким.

. . . .

Опасения, как бы я не стал «вторым математиком»,— одолевают меня; мне ужасно, что я — большелобый: поменьше бы лобик мне; хорошо еще, что мне локоны закрывают глаза; их откинуть — все кончено: страшная, ненормальная выпуклость — лоб — выдается упорно; и лоб — расширяется: — у меня громадная голова; она — шар.

Воспоминание о «жаре» и «шаре» (я «шарился» в «жаре») опять нападает; сиротливо мое бытие: в беспредельности я — один, окруженный печами, отдушиной, трубами, из которых за мною полезут: меня взять от мамочки; там живут — «математики»: папа водится — с очень странной компанией: преждевременно развитой; угрожает она развивать и меня: преждевременно; и мне кажется: —

— «преждевременное развитие» уж со мною случилось, когда-то; я откуда-то «развивался»; и «преждевременно» выгнался: осиливать пустоту и упадать (нападает «старуха» там) в наших комнатах; снова свился я с трудом; неужели же мне развиться и — выгнаться вон... уже я проседаю во тьму.

Но это все — вечерами...

. . . .

А утром: —

— с папой мне легко и просто; перед уходом на «лекции» обнимает меня; согревая мне ручки отверстием бородатого-усатого рта, он мне шепчет:

— «Котинька, повторяй-ка, голубчик, за мною: Отче наш, иже еси на небесех...»

И я повторяю:

— «Отче наш, иже еси...»

— «На небесех...»

— «Небесех...»

Не проснулась бы мамочка!

Я люблю очень папочку; а вот только: он — учит; а грех мне учиться (это знаю от мамочки я)... Как же так? Кто же прав?.. С мамочкою мне легко: хохотать, кувыркаться; с папочкой мне легко: затвердить «Отче наш»; с мамочкою оба боимся мы: придут «математики»; с папочкою выручаем мы «молодых людей» и прислугу.

Грешник я: грешу с мамочкой против папочки; грешу

с папочкой против мамочки. Как мне быть: не грешить?

Одному мне зажить: я — не папин, не мамин; а жить — одиноко...

Милая Раиса Ивановна!

. . . .

Мы стоим в хрупком круге: почти на тарелке; она врезана в синерод: и синерод полушаром встает там, за окнами...

Вот попадаем мы незащищенно носиться —

— «Нет мочи!» —

— И сорвется все: потолки, полы, стены; папа, мама — провалятся; хрупкий круг разобьется, и провалится тоже, как хрупкий круг солнца, за окнами: в тучи; а тучи, в багровых расколах, проходят за окнами; из-за багровых расколов блистает т о т с а м ы й (а кто, ты — не знаешь).

УЖ И ТЕМНО

Уж и темно: нетопыриными крыльями пронесутся там тени, когда —

> перерезая пары, свисты, шепоты, шипы на кухне, полнокровный огонь перебежит из печи через воздух на стены; и самокрылые светлые косяки задрожат на стенах...

Слушаю: толчея за стеною, на кухне; Афросинья-кухарка там рубит котлеты; а то снимет железную вейку с печи и забьет кочергою она; и — действия Афросиньи-кухарки мне не кажутся ясными; все они — подозрительны; подозрительна ее лихая рука; и — бородавка под носом, подозрителен вспученный подбородок, как... зоб индюка; подозрительно жалобен муж Афросиньи-кухарки, костлявый Петрович, рукою слагающий мне на печи тени зайчика; говорят: Афросинья давно загрызает Петровича; и кидается на него с острым ножиком: выгнется ее бело-каленая голова с жующим ртом и очень злыми глазами; и, ухвативши за спину Петровича, она стащит портки; и вырезает ножом из Петровича... ростбифы (оттого-то на нем мяса нет: только кожа да кости), а —

— ломти мягкого мяса малиновеют на столике; и кровоусая кошечка все косится...

Помню раз: поднималась на кухне возня; и выбегала Дуняша из кухни поведать нам с плачем, что Афросинья

Петровича душит; чувствовалось: **ненормальность развития** действий; и — **преждевременность** их.

Думал я:

— «Вот оно наступило: преждевременное развитие».

Осознавалося: Петровича уже нет, а есть ломти мяса, малиновеющего под точеным ножиком Афросиньи,— в шумах и шипах, в парах.

Мы бежим в проходной коридор; мы стоим в коридоре; самозвучная половица скрипит; переменяясь, ползут наши тени; тени свесились из углов; тени свесились с потолков; и чернорогие женщины, возникая из воздуха,— угрожают из воздуха.

. . . .

Кружевные дни на ночи: повторяют себя — на ночи,

— «Ту-ту-ту!»

— «Ту-ту!»

— «Ту-ту-ту!» —

— белоглазая Альмочка лапочкой чешет шерстку.

Красноярая свора огней пробежит по печам: окоптит трубы нам.

МАМИНЫ РАССКАЗЫ

Мамочка, в пеньюаре, положивши на плюшевый пуф алый бархатный башмачок и дразня им болоночку: —

— («ту-ту-ту — ту-ту — ту-ту-ту» — белоглазая Альмочка лапочкой чешет шерстку под мамочкой) —

— как разблещется глазками, принимаясь рассказывать нам: что она была девочкой, «**звездочкой**»; и что дедушка требовал, чтобы мамочкин лобик открыт был; маме было пять лет; а тете Доте — два года; и водился за нею грешок: не просилась она из постельки; дядя Вася тогда становился бездельником; «**Перепрытковские**» — были куклы; и ездили в гости к «**Бробековым**»; «**Перепрытковские**» сохранились у мамочки, а «**Бробековых**» я изорвал; когда дедушка умер, то бабушка обеднела, а мамочку вывезли: на предводительский бал; и — появились «**хвосты**»: то — вздыхатели мамочки; где она, там они... двадцать пять женихов полу-

чили отказ; предлагали они свои руки и сердце; получили они: длинный нос.

Мамочка вышла за папочку: из уважения к папочке; ее приданое — куклы: «Перепрытковские» сохранились еще; а «Бробековых» я изорвал...

. . . .

Мамочка переложит, бывало, ножки с пуфа на креслице; и, продолжая рассказы, она вся откинется к длинной спинке качалки: —

— Мои дяди и тети все слушались мамочку; зажигались огни в белом зале с колоннами; дедушка — белый, гордый и полный, в чистейшем жилете, держа руки за спину,— с очень толстой сигарой в зубах выходил из теней: любоваться на игры.

— «Детки: деточки-деточки... Ангелы-ангелы, ангелы... Ну-ка, «звездочка»: матушка... Ха-ха-ха: хорошо...»

И проходил за колонны...

Иногда затевалась война: и пребольно дирала капризница-мамочка дядю Васю-бездельника за вихор; и тогда из колонн выходил на них дедушка:

— «Не хорошо: нет-нет-нет... Не хорошо: нет-нет-нет...»

Дедушка не кричал никогда; он покачивал головою.

И дом погружался в молчание: бабушка запиралась на ключ; мамочка, тетя Дотя и дядя рыдали; прабабушка (мамина бабушка) начинала шептаться с бабушкой; в белоколонной комнате дедушка проносил гордый лоб: от колонны к колонне; и без всякого гнева шептал бритым ликом:

— «Нет-нет: так нельзя...»

Приходили в дом гости: Белоголовый и Иноземцев (тот, которого — капли); приходил и Плевако — талантливый молодой человек; дедушка говаривал им:

— «Покажу-ка вам «звездочку»...

Вызывалися дети — петь хором:

«Нелюдимо наше море:
«День и ночь шумит оно.
«В роковом его просторе
«Много бед погребено».

Если кто-нибудь из гостей начинал петь «романсы», его останавливал дедушка, безо всякого гнева:

— «Нельзя, знаете — в нашем доме: оставьте... Дети тут у меня. Они — чистые ангелы...»

Пелось:

«Белеет парус одинокий
«В тумане моря голубом...»

По вечерам, задрав волосы детям, подводили их к дедушке: подставлять ему лобики; всякий лобик крестя, приговаривал он:

— «Дай-ка я тебя: в лобик и в глазки...»

Занимался коммерцией он; временами он ездил в Ирбит, приезжая оттуда с мехами; никто из домашних не знал, что он делает утром в амбаре; с кем торгуется он; и — кому продает; видывали его, проезжающим по Остоженке, на своей серой лошади, в меховой большой шапке; и в шубе с бобрами.

— «Это едет вот — Пазухов; он — советник коммерции. Очень почтенная личность...»

Дедушка мало знался с гостями; запирался с двумя докторами: Белоголовым и Иноземцевым; над молодым человеком, Плевако, подшучивал он; и — заходил он к прабабушке перед сном со свечою в руке: рассказывать каламбур и зачем-то у ней взять бумажку...

. . . .

Так, бывало, нам мамочка, разблиставшись глазами, часами заводит рассказы, положивши на плюшевый пуф алый бархатный башмачок; я, бывало, заслушаюсь; белоглядные окна — заслушались тоже; белоглазая Альмочка лапочкой чешет шерстку под мамочкой.

ТИХОНЯ

С папочкой говорить мне нельзя: а то мамочка скажет: — «Да он преждевременно развит...»

Ну-ка — буду-ка я кувыркаться! И ну-ка: на мамочку поползу, как болоночка, прямо к плюшевой туфельке — ее нюхать; и, приложив ручку к спинке, лукаво виляю я маленьким хвостиком.

Я — себе на уме...

Мамочка рассмеется и скажет:

— «Ребенок...»

И похлопает меня, как собачку: и подкину ножками... Весело!

Если бы я ее расспросил, что такое «оно», что встает в уголочке, и что такое там «мыслится», — то она бы сказала:

— «Нет, он — математик».

И поднялся бы у нас разговор о большом моем лбе.

Этот «лоб» закрывали мне: локоны мне мешали смотреть; и мой лобик был потный; в платьице одевали меня; да, я знал: если мне наденут штанишки — все кончено: разовьюсь преждевременно.

Кувыркаться я очень любил: и любил я подумать; вот только — подумать нельзя:

— «Ни-ни-ни...»

Кувыркался я для себя: и еще больше... для мамочки.

. . . .

Мне не нравились разговоры: о воспитаньи ребенка; пересекались на мне тут две линии (линия папы и мамы): пересечение линий есть точка; математической точкою становился от этого я: я — немел; все — сжималось; и — уходило в невнятицу; говорить — не умел и придумывал, что бы такое сказать; и оттого-то я скрыл свои взгляды... до очень позднего возраста; оттого-то и в гимназии я прослыл «дурачком»; для домашних же был я «Котенком», — хорошеньким мальчиком... в платьице, становящимся на карачки: повилять им всем хвостиком.

Но стояло в душе моей:

— «Ты — не папин, не — мамин...»

— «Ты — мой!..»

— «Он» за мною придет.

. . . .

Светлоногий день идет в ночь: черногая ночь забодает его.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ГНОСТИК

Белую лилию с розой,
С алою розою мы сочетаем.
Вл. Соловьев

ДРЕВО ПОЗНАНИЯ

Вот Раиса Ивановна —

— милая! —

— из кургузых лоскутиков делает шерстяной червячок: красный, красный такой!..

— «Was ist das?»

— «Das ist die Jakke...»

Глядя искоса на меня, наклонилась она к шерстяным красным тряпкам: смеется и клонит свой локон в мой локон.

«Яккэ», «Яккэ» — какое-то: шерстяное, змеёвое; ничего не пойму — хорошо!..

. . . .

Папа раз к нам пришел; наклонился над лобиком толстеньким томиком в переплете; прочел мне из томика — об Адаме, о рае, об Еве, о древе, о древней змее, о земле, о добре и о зле: —

— и я думаю: —

— об Адаме, о рае, об Еве, о древе, о древней змее, о земле, о добре и о зле; и мне ясно уже: шерстяная змея моя — *«Яккэ»;* —

— бывало, сшивала Раиса Ивановна красненький шерстяной червячок из кургузых лоскутиков.

. . . .

Сплю: —

— из кургузых и узких лоскутиков строится ночью какой-то особенный, свой, нарастающий рост: рост лоскутов разроится багровыми краснолетами, ходит огромными строями очень громких алмазиков и азиатскими змеями, лживыми мигами; близятся — пухнуть в огромных рассказах —

— о старом Адаме, о рае, об Еве, о древе, земле! —

— обо мне: о добре и о зле! —

— Начинаю мечтать; принимаюсь кричать; —

— и Раиса Ивановна встанет унять меня, взять меня спать: на постельку к себе; я не сплю; я — молчу: чуть дышу; мне —

— и мило, и древне, и жарко, и грозно, и грустно; —

— ужасно сжимая мне грудку, ужасные сжатия в грудку опустятся чувствами: пухнуть... И все начинает опять мне кричать в очень громких рассказах; сквозь милое, древнее, крестное древо прорежется: —

— ясно: —

— уже не Раиса Ивановна дышит со мною тут рядом, а пламя тут пышет —

— *«оно!»* —

— ужасаюсь и чув-

ствую: произрастание, набуханье *«его»* — в никуда и ничто, которое все равно не осилить; и —

— что это?

. . . .

«Оно» — не было мною; но было мне, как... во мне, хоть — «во вне»: —

— Почему *«это?..»* Где? Не *«оно»* ли уж Котик Летаев? «Где я»? Как же так? И почему это так, что у «него» не «я» — «я»? —

— «Ты не ты, потому что рядом с тобою — какое-то: жаровое такое...

— «Не Раиса Ивановна — грозовое, глухое «оно»...

— «Вот «оно» — набухает: растет стародавнею жизнию...

— «Тело!» —

— Так бы я уплотнил словом странные строи из мыслей моих в том глотающем, лезущем, суетном, водоворотнопустом: и я — вскакивал; вскакивала и Раиса Ивановна.

— «Was ist das?»

Схватывала, прижимала к себе; но объятия начинали казаться какими-то стародавними пламенами; ураганное состоянье сознания в натяжении ощущений моих начинало носиться во мне крылорогими стаями...

— «Jakke!..»

. . . .

«Это,— думал я,— рост»; «это,— думал я,— древо познания, о котором мне читывал папа: познания —

— о добре и о зле, о змее, о земле, об Адаме, о рае, об Аггеле...»

По ночам поднималось во мне это древо: змея обвивала его.

КРАСНОРЕЧИВЫЙ МИГ

«Я помню все: тот миг красноречивый,
«Которым вы свою любовь открыли...» —

— Свершилось: я вспомнил!

. . . .

Это было под вечер; и мама была у Гутхейля: вернулась с романсом; меня брали к Дадарченкам; и вернулся я с маленьким, крашеным, деревянно пахнущим клоуном; и — та же обложка романса; в красноречивых разводах: клоун же был — полосато-пятнистый: и желтый, и красный.

Он без слов на меня посмотрел; и без слов мне сказал:
— «Вспомни же!»
Мама пела: —

— «Я помню все: тот миг красноречивый...»

Красноречивый мой клоунчик; и — певучий мамочкин голос — все вспыхнуло мне ярко-красным: мне милым, мне древним; и что-то затеплилось в грудке, сжимая мне грудку: —

— Он пришел — ко мне:
Меня взять, меня взять —
— и увести за собой:
— «Не забудь!..
— «И возьми!..
— «В свою красную комнату!..»
Красноречие течет к нам оттуда!

. . . .

«Которым вы свою любовь открыли...»

Клоуна подарила мне Соня Дадарченко — девочка с длинными волосами и какая-то вся, как мое пунцовое платьице, о которое мне приятно тереться, которое хочется мять,—

— а пунцовый наш абажур с двумя глазами совы и совиным клювом красноречиво посматривает: грустным, ласковым, древним:
— «Не — папин, не — мамин...»
— «Я — Сонин...»
Он же, клоунчик, все зовет:
— «За ним — все, все, все!»
И — ослепительна будущность: моей любви...— я не знаю к чему: ни к чему, ни к кому: —
— Любовь к Любви!

— «Я помню все: тот миг красноречивый,
«Которым вы свою любовь открыли».

. . . .

Желто-красные пятна заката — в черноватеньких облачках: догорели —
— последние!
— «Мой леопардовый клоунчик!..»

. . . .

И я — мыслю без мысли: —
— Раиса Ивановна, милая, там иголкою делает: «красненький шерстяной червячок»;

— «Was ist das?»
— «Das ist die Jakke».

Как же мог я забыть. *Яккэ* — красненький шерстяной червячок в красной комнате клоуна: —

— когда время окончится, будет... комната клоуна; там он делает *Яккэ* — всем, всем!..

Он — за мною, ко мне,— меня взять: в свою красную комнату!

Я прижался к нему: и он пах деревянным; уже убегаю: решение роковое —

— я завтра утром: к нему!..—

— А пунцовый наш абажур с двумя глазами совы красноречиво посматривает: я — не папин, не — мамин; я — даже, не Сонин; я — клоунов.

Пунцовые отблески гонятся:

«Я помню все: тот миг красноречивый,
«Которым вы свою любовь открыли».

. . . .

Засыпаю: и клоунчик — желто-красный! — до ужаса узнанным ликом без слов:

— «О, вспомни!..
— «Ведь это — я!..
— «Старая старина!..»

СОНЯ ДАДАРЧЕНКО

Соня Дадарченко —

— в желтых локонах, с бледным бантом: какая-то вся — «теплота», которую подавали нам в церкви — в серебряной чашке,—

— ее бы побольше хлебнуть:

не дают! —

— в желтых локонах: из-под них удивляются два фиалковых глаза на мир; опустились безмолвно в меня, прожигая меня, бархатея и ластясь —

— и милым, и древним! —

— и мне изнутри вылагая грудь — чашу, в которой, колышется сердце — фиалковой синью и ширью, чтоб малым алмазиком звездочка прокатилась туда бы... Сияющим ощущеньем тепла; —

— и все это вносится взглядами Сони Дадарченко, девочки в желтых локонах, с бледным бантом. Подходит ко мне:

— «Ты — не папин!..

— «Не — мамин!..

— «И ты — не Раисин Ивановнин,

— «Мой!»

И хочет вести за собою — туда, куда катится звездочка малым алмазиком.

Убегаю за ней.

. . . .

Но она — от меня: прямо в дверь.

Деревянная дверь в долгих складках портьеры свисает сребристыми струями; а струи слетают блистающим током: туда —

— улетает она!

Оттуда — просунулась Сонечка: лобиком, локоном, глазками, бантиком, в блесках и шелестах —

— милая!

Все, что было, что есть и что будет: теперь между нами: но локоны, лобик и бантик пропали; и нет ничего: рябь.

И — утекло все, что было.

Ничего и не было: струи.

Что же это такое, что — есть?

Соня Дадарченко — есть: ничего больше нет.

. . . .

Она водилась меж кресел: садилася в кресло; и раздавалось оттуда, из складок портьеры:

— «Ау!»

И я, тихий мальчик, сидел перед нею, — в малиновом кресле, с поджатыми ножками: все, что случится, что есть и что было, опять возникало меж нами; Сонечка не посмотрит, бывало, своими алмазными глазками; у нее закушена губка, дрожащая от улыбок, когда она, отталкивая меня от себя своей ручкой, мне что-то такое лепечет —

— про Диму Илёва, которого у Дадарченок видел я и которого невзлюбил:

— «Не папы-мамина я...

— «Не твоя я.

— «Я — Димина...»

А сама улыбается ясненьким личиком. Это ясное личико — мило.

Целую ее.

. . . .

Пятна заката в окне догорают: последние!

Сумерки.

Сонечку я не вижу, но — знаю, что там, из угла, два фиалковых глаза безмолвно проходят в меня, бархатея и ластясь мне синью и ширью —

— куда —

— самоцветная звездочка... скатится!..

Косяк пурпура — на стене; косяк пурпура — на полу: там — закат, на который глядят...

ЗАКАТЫ

В эту пору впервые мне и открылись закаты...

Закат: —

— все отряхнуто: комнаты, дома, стены, тучи: все — четко; все — гладко; земля — пустая тарелка; она — плоска, холодна и врезана лишь одним своим краем —

— туда! —

— где из багровых расколов блистает он золотом,—

— тянет нам руки из-за багровых расколов: и руки, желтея, мрачнеют и переходят во тьму: —

— все — отряхнуто: комнаты, дома, стены, тучи: все — четко; все — гладко; земля — пустая тарелка; она — плоска, холодна и мы — в хрупком круге —

— почти на тарелке! —

— А кто-то стоит и глядится из полосатых закатов, чтобы уйти в стародавнюю, черную, эонную Древность; и до ужаса узнанным ликом —

— говорит мне без слов:

— «Вспомни же!..

— «Ведь это — я: старая старина...»

. . . .

Уже ширятся огромные очи ночи; и восстает она, ночь; и — страшное, роковое решение,—

— улыбаяся,—

— томной

тайной приходит: —

— и мне кануть с ним: отблистать в черной Древности: —

— «За ним!» —

— «Все!» —

— «Туда!..»

. . . .

Но световые пятна заката уже потухают: желто-красною леопардовой шкурою...

ПРИХОД... ОТ ГУТХЕЙЛЯ

Я не верил ночам: —

— краснoярая свора огней, мне казалось, неслась по печам: накалять печи нам...—

— Там, бывало, зиял раскаленный оскал...—

— Я кричал над раскалом:

— «Спасите!..

— «Нет мочи!..»

. . . .

Красноречивые миги случались,—

— И если бы уплотнить мне при помощи слов эти миги! —

— Когда понимания, мысли, понятия начинали кричать очень громко и пухнуть в огромных рассказах; а вещи немели, струясь и расплавленно утекая, чтоб Вечность, как вещь, возникала в летучем безвещии: и — объясняла себя —

— очень тихим звонком к нам во входную дверь —

— (ни глазами, ни ухом его не уловит никто, потому что спадают очками глаза; уши, тоже,— не уши: наушники) —

— звонок, знаю я,— от Гутхейля; Дуняша бежит отпирать: кто-то — желтый и красный — древнеет, как прежде, в дверях перед дрожащей Дуняшею; —

— подает картонную карточку с красным крапом; на другой стороне — туз червей: — это сердце мое; пламенеет оно; решено, суждено: пронзено! —

— а картонная карточка капает красным краном нам на пол.

Клоун кланяется: —

— кипарисовой, деревянной рукою откроет он деревянные двери столовой: половою щеткой окрасит бестенные стены; красноречивые миги в спокойных покоях растут на обоях кровавыми крапами, точно древнее древо: —

— красноречивые карусели кипят; кипятками калят: колесят краснолетом; и он — пролетел в коридор: бьет в упор: —

— фыркнул фейерверк азиатскими змеями: тетками.

Тетки тикают!

— «Ай!

— «Помогите!

— «Спасите меня.

— «Унесите от теток!» —

— Так бы я закричал, если б мог; так кричать я не мог: и я — вскакивал; вскакивала и Раиса Ивановна из белеющих простынь: и — чиркала спичкой; и вспыхивал ярый мир; темнота исходила багрово расколами.

. . . .

Утро.

Детская. Девять: не двигаюсь... Десять!

Довольно.

Там, бывало, Раиса Ивановна заволнится сквозной рубашонкой; белеет босою ногою; покрадется с черным чулком и с фланелевым лифчиком:

— «Кофе готово!»

Упираюсь коленом в колено ее.

Она — милая, мягкая: мну ее; —

— будто мягкое платье мое, с крупным кремовым кружевом, о которое так приятно тереться и которое так приятно трепать, мять и рвать —

— ее стисну: повисну на ней; и — затихну.

. . . .

Рукомойники плещут, полощатся; мылятся руки — до локтя; намылены — личико, лобик: до локонов; все — яснеет.

И ясно.

Припоминаю сегодняшний сон, то есть красную комнату клоуна: в красной комнате клоуна древняя змея, Я к-к э,— ждала.

Может быть, еще ждет.

Жутко и чутко: жужжат рукомойники; отжужжали! иду коридором — туда: может быть, она — там.

. . . .

Но, бывало, войду — погляжу: безвременное временеет вещами.

Столовая — мерзленеет: стенным отложением, точно надводными льдами —

— па легких спиралях, с обой, онемели давно: лепестки белых лилий легчайшим изливом; кружевные гардины, как веки, тишайшие нависли, как иней; смотрю: —

— и окнами, как глазами, без слов отвечают мне стены; и — бледноглазая ясность: покроет покоем.

. . . .

У Дадарченок была елка: —

— Христофор Христофорович Помпул, влезая на стул, начинал очень громко кричать, отцепляя хлопушки, бросая их детям; Николай Васильевич Склифосовский, чернобородый, веселый, сгибаясь под ветви, ловил те хлопушки; свечи таяли, заструясь и расплавленно утекая в безвещие; и безвещие трепетало огромнейшим световым ореолом вкруг елочки, объясняя себя очень громким звонком —

— мы уж знали: то — ряженый; фыркал бенгальский огонь; в комнату вбегал клоун: и желтый, и красный, но... в масочке.

ТАМАРА

Полиевкт Андреевич Дадарченко раз с Еленой Кирилловной, Сониной мамой,— читали: какое-то такое... свое.

Не пойму: хорошо!

Понимаю одно я — «Тамара».

И — Тамара сидит; и — Тамара молчит: перед окнами; в окнах — стылое небо: дрожит; и —

— самоцветная звездочка,—

— в звездолучие ширяся, падает из огромного синерода, настоя из блещущих звезд, становяся —

— двулучием: —

— перемещаются два луча вокруг диска; диск — ширится; и — лебединые перья свои протянул он к Тамаре,

ласкал Тамару сияющим ощущеньем тепла; описывал дуги над нею, качался над нею в темнеющем воздухе: —

— и — Тамара сидит; и Тамара молчит: перед окнами; в окнах стылое небо дрожит, а какое-то в ней «свое» — запевает:

«Я тот, которому внимала
«Ты в полуночной тишине...»

Полиевкт же Андреевич, Сонин папа, окончил тут чтение, приподымая на нас толстый нос, ущемленный пенснэ.

Полиевкт Андреевич, из-за книги прояснясь, ко мне наклонялся подчас великаньим лицом с преогромною лысиной:

— «Тоже слушает!..»

— «Нервный мальчик какой...»

И принимался меня он подкидывать на огромных, тяжелых ладонях; и напевал громким басом:

— «Ша-ша...

— «Антраша́!..

— «Ша-ша-ша!»

А когда опускал меня на руки он, то смотрел я на два бирюзеющих Сонина глаза; Сонечка, клонясь из качалки, меня целовала; но я,—

— простирая над Сонечкой руку,— я пел:

«Я тот, которому внимала
«Ты в полуночной тишине...»

Быстротечное небо кипело, дрожало, дышало, переливаяся звездочкой.

КЛОУН КЛЁСЯ

Поликсена Борисовна Блещенская появлялася в бьющихся, вьющихся лентах: черноглазая, с черной мушкой на щечках; прядали пышные перья: белело боа; точно небо на ней, стрекозящая сетка стекляруса вся кипела, дрожала, дышала, переливаяся блесками.

Поликсена Борисовна, обнимая мне мамочку, сопровождала слова многим смыслом, передо мною гонимых значений.

Я вникал в те значенья: —

— являлась не наша вселен-

ная, где и я был когда-то: как знать — до рождения? Слушая речи Блещенской, закрываю глаза —

— встают комнаты Блещенских: это — комнаты Космоса, где клокочут лучи миллионами светлых пылиночек: где —

— Валериан Валерианович, черноусый, в мундире — со шпагой, встает из-за кресла пред ярким камином — с бокалом шампанского...—

— Валериан Валерианович, подпимая бокал высоко, запевает:

«Ах, сколько надежд дорогих...»

Выпивает бокал; разбивает бокал. Длинный же Клёся, который не Клёся,— а — Костя («Клёся» — прозвище Кости),— маленький, юркий и пестрый, подхватит уже:

«Сколько счастья!»

. . . .

Эти речи о «К л ё с е», о «К л ё с ь к е», о «К л ё с и н ь к е»,— без которого Блещенские не могли обходиться, который пришел к ним зажить, им устраивать сферу света —

— за сферою — сферу! —

— кружить эти сферы: все речи о «К л ё с и н ь к е» сопровождали мне воспоминания маминой жизни у Блещенских: —

— где за круглым столом подают «к р е м - б р ю л э» в виде формочки с выступцами, где за круглым столом сидят д я д и и т е т и перед зажженными канделябрами: —

— мне казалося: —

— гости те — Азаринов, Миловзориков, Глянценроде, Гринев — быстро выскочат из-за кушанья и, схватив канделябры, вдруг пустятся в пляску они, угоняемые под арку, раскрытую Клёсей,— туда —

— где их всех поджидает драгун: «д р а к о н» Даков — в розово-рдяных рейтузах, с женою, цыганкою, в бархатном платье: все — Клёся устроил, смеется, с гитарой в руке:

— «Сколько счастья!».

— «Надежд дорогих»...—

— хохоча, подхватывает Валериан Валерианович; и в его прытко прыщущим шипром кропит уже дама — цыганка.

. . . .

Эта жизнь не есть наша: а — Блещенских; прытко прыщется шипром и блеском, разбрызганным Клёсей вокруг, за который ему Валериан Валерианович платит: проценты...

Что такое проценты?

Не знаю...

Вероятно — горючее вещество; керосин, антрацит, или... уголь... Валериан Валерианович посылает лакея — за угольным, тяжелейшим кулем; куль приносится... Клёсе; и — жжет его Клёся, превращая горючее вещество в дым и блеск. Этот Клёся — искусник: кудесник, чудесник! Вечно бегает пó дому, поклоняяся блеску и треску; и — кланяясь куклою; клоун — он.

Клоун Клёся есть кукла; он — куплен: уступлен; он — в кардонку, скривленный, уложится ночью: на беленьких стружечках!

Встает же с зарею.

Он завел себе бубен: повесил на стенку себе; этот бубен есть — «гонг»: гонг — гудит.

СУЩЕСТВО ИНОЙ ЖИЗНИ — ОГНЕВ

Клоун Клёся есть кукла не нашего мира: колдун!

Он — заведует освещением.

У него есть волшебный фонарь: из него пропускает струею на стены цветные свои перспективы... с цыганами, с тройками, — даже: с известнейшим тенором оперетки, Огневым, поражая им — всех: —

— особенно Поликсену Борисовну!..

Сотворенный клоуном Клёсей Огнев появляется в окнах одной фотографии в виде демона, поражая Москву (всю Москву!): —

— это все завел Клёся —

— жизнь катится им колесом на кипящих, огневых спиралях; и Валериан Валерианович именно оттого и сгорает, что Поликсена Борисовна — в свете: в мазурочном носится пульсе — летающим, блистающим колесом, но: —

— пульс этот Клёсин: —

— он знает, что знает: двусмысленно улыбаяся, катит карету словесных значений — под арку: —

— в театр! —

— где Огнев! И закрываясь в карете б о а —

— нападающим на людей! —

— Поликсена Борисовна внемлет вещаниям жизни, подсказанным Клёсею.

СМЫСЛЫ ЖИЗНИ

Валериан Валерианович есть полено, объятое пламенем; он рассыпался головешками; головешки алеют, мутнеют: чернеют, сереют — их нет! Фу — развеятся!

Много поленьев.

Сегодня сгорело одно; разгорится другое назавтра.

Твердое основание жизни расплавлено Клёсею: многообразием катимых значений: —

— а карета все катится — катится — катится на четырех колесах: в оперетку! И, закрываясь боа, как змеей, в ней, в карете, сидит Поликсена Борисовна: с черной мушкою, в перьях.

. . . .

Огнев: —

— вытаращивая свое черное око со сцены, косится давно в бенуар: Поликсена Борисовна — там; загорелась румянцами от Клёсиных объяснений двусмыслицы; понимания здесь — блески глаз.

. . . .

Так бы я уплотнил смыслы слов, передо мною встававших в то время, когда —

— Поликсена Борисовна появлялась блистательно в бьющихся, вьющихся лентах, белея боа, как змеей, обнимала нам мамочку и уводила с собою в карету: —

— казалося: —

— что карета помчится в театр (то есть, в то, чего не было, что тем не менее существует): в суть иной формы жизни; карета уже улетает; за ней — ряд огней: убегающих дней: —

— в рой теней!

. . . .

Клоун Клёся хоронится там,— в туманных огнях: набегающих днях; Клоун Клёся погонится на черноярых конях.

ПЕЛАДЫ

Когда Серафима Гавриловна переехала в Гавриков переулок, то нам начали назревать пелады; пелады назревали давно; по углам, по стенам: —

— все-то шорохи, шепоты: Серафимы Гавриловны с тетей Дотею:

— «То же вот: эти нежности...»
— «Отнимают ребенка от матери!..»
— «Воображают, что — их!» —

— что-то тетино-дотино возникает; и — вот:

— «Неестественны нежности эти: развитие это!..»
— «Наш Кот: не — их!»
— «Произвели бы на свет его сами».
— «А тоже вот!»
— «Воображают, что — их».
— «Затесалися в дом посторонние личности!» —

— что-то тетино-дотино возникает; и видно из окон, как черные галки летают над прутьями.

Мамочка тут заплачет; и — скажет:

— «Мой Кот: сюда!»

А Раиса Ивановна — в слезы.

И уже скрипит половица: у приоткрытой двери; и нам виден уже: папин нос; и на нем — два очка; и он смотрит оттуда.

— «Знаете ли, Серафима Гавриловна, да и вы, Евдокия Егоровна,— не хорошо восстанавливать мать на воспитательницу, так сказать...» —

— и Серафима Гавриловна уезжает от нас, в свой коричневый особняк: смутно сыплются смыслы:

— «Мой — Кот!»
— «Кот — сюда!»

Пуще прежнего примется плакать Раиса Ивановна; шорохи, шепоты пуще прежнего примутся; пуще прежнего плачу в окно — за окно: в ясноглавое облако.

— «Ай, ай, ай...»
— «Мой Лизочек: напрасно ты это, Лизочек».

Папа мой повздыхает; и вот — убегает обратно: утк-

путь нос в очках в свои листики и в корешки пыльных книжек; и — там горестно шепчется.

— «Дифференциал, интеграл!» —

— тах-тах-тах! —

бара-

банит он по столу пальцами.

Или же: —

— он в распахнутом, пыльном халате бьет пыльною тряпкою по толстеньким томикам; или же: —

— он

без толку и проку забродит, отбарабанивая по углам, по стенам; и — махая линейкой; очень-очень нам грустно: Раисе Ивановне, мне.

Очень-очень нам грустно!

Нам болоночка Альмочка все-то тявкает в спины; она — загрызает щеняток; Серафима Гавриловна, Афросинья — вот то же: грызутся.

— «Что —

— то —

— те —

— ти —

— до —

— ти —

— но!» —

падают капельки в рукомойнике.

Грустно!

Мы сидим: голоса Раисы Ивановны мне не слышно; сидим: никакого события нет; да и нет — ничего; те же будни; перемогается в лепете капелек время; Раиса Ивановна, милая, — с перемученным, мертвенно-бледным лицом тут сидит; а — дозирающий лик тети Доти из зеркала подымается; по краям серых стен повалили на нас бестолковые толоки: Афросинья рубит котлеты.

УЖАС ЧТО!

Произошло ужас что: долго мамочка плакала; папа наш, заскрипев на весь дом, громко крался к ней в комнату — разговаривать: наклоняяся к мамочке бородатым-усатым лицом, на свой выпуклый лоб приподнявши очки, приговаривал он и поглаживал мамину руку огромной ладонью:

— «Лизочек, друг мой: я всегда говорил — пустота

жизни Блещенских не была наполнена, мой Лизок, никаким содержанием».

— «Не говорите: ужасно!»

И мамочка, закусив губку зубками, заходила по комнатам, шелестя своим креповым трэном; за ней ходил папа: с линейкой в руке; приговаривал он:

— «Я всегда говорил».

Слушал я с замиранием сердца: я понял: —

— вот что: —

— Клоун

Клёся давно уговаривал Поликсену Борисовну дать свиданье Огневу:

— «Ах нет, ни за что»,— отвечала ему Поликсена Борисовна; но согласилась она, не снимая ротонды, боа и перчаток, заехать к Огневу; Валериан Валерианович это знал: поджидал у подъезда ее: хохотал; Клоун Клёся — был с ним: хохотал Клоун Клёся.

Неправда!

Валериан Валерианович убежал в тот же день догорать: в Ремешки, то есть там, куда-то,— за Пензу.

. . . .

«Сколько надежд дорогих!
«Сколько счастья!»

. . . .

В комнатах Блещенских, по словам моей мамочки, потушили огни; там живет только Клёська. Из Трубниковского переулка нам виден уже особняк: в темных окнах опущены шторы; эти темные окна недавно еще были светлыми окнами; эти темные комнаты были: комнаты Космоса; ныне комнаты Космоса — темнота, пустота, о которой сказал с раздражением папочка:

— «Пустота жизни Блещенских, мой Лизок, не была наполнена никаким содержанием».

Содержание это — мое; я — наполнил им все.

. . . .

Смыслы слов обманули; и таимые комнаты Космоса оказалися темными переходами —

— комнат, комнат и комнат,—

— в которые если вступишь, то не вернешься обратно, а будешь охвачен предметами, еще

не ясно какими, но, кажется, креслами в сероватых, суровых чехлах, вытарчивающих в глухонемой темноте; там, оттуда —

— гремит гулкий шаг; клоун Клёся там водится: он похаживает, погромыхивает; и — кричит нам оттуда:

— «Ах, ах!

— «Сколько счастья?»

И меряет счастье — аршинами; если что-нибудь вспыхнет там,— клоун Клёся потушит; —

— чувствую невозможность так жить; не прорастают понятия смыслом: клоун Клёся мне все потушил — навсегда; и мой космос —

— страна, где я был до рождения! —

— мне стоит серым, каменным домом с колоннами и пустоглазыми окнами в глубине Трубниковского переулка. Раз с Раисой Ивановной проходили мы там; шла фигурка — с крыльца: в переулок; длинный нос она прятала в свой барашковый воротник, нахлобучив на лоб свой колпак из барашка: то был клоун Клёся.

НЕЛАДЫ — ВСЕ ЕЩЕ

Тетя Дотя и бабушка толокли все еще толчею; смыслы слов смутно сыпались; мамочка в кремовом кружеве тут ходила; бирюзела глазами на нас; а Раиса Ивановна — поникала все ниже и ниже у окон: поплакать.

Бывало вот: —

— легкие локоны льются; поплачет, поплачет она; напоминанием, как весной, надо мной, нежно никнет она; и вот — снежно: —

— леденеет морозом алмазная лилия; уж и солнце садится; и лилия прогорает: легчайшими переливами; и лилия, алым кристаллом блистая, погаснет.

Темно.

И уже скрипит половица у приоткрытой у двери; папин шаг; папа наш, заскрипев половицею, громко крадется в комнату: утешать Раису Ивановну и меня от назойливых шепотов Серафимы Гавриловны — мамочке: будто бы меня отнимает от мамочки наша Раиса Ивановна; зажи-

мает папочка ручку в большие ладони: посмотрит,—

— и из усатого-бородатого рта надувает тепло под рукавчик; он — шепчет про небо: под небом все сгладится.

Эдакий он неловкий — зачем он скрипит половицею?

Он напортит нам все!

Нас, наверно, подслушают; и — Раиса Ивановна будет плакать опять.

. . . .

Ночь: все — пусто; огни потолками проходят: застыли они, кружевея; и — комнаты, как ковши: зачерпнули за окнами мраку; и, как ковши,— полны мраку; Серафима Гавриловна спряталась в листьях лапчатой пальмы: пугаюсь темнотного шепота.

Знаю я, что —

— Раиса Ивановна плачет в кроватке: трясется матрасик под ней; и я — к ней из кроватки: поплакать вдвоем.

БОА

Папа снова пришел; наклонился над лобиком толстеньким томиком; и прочел: —

— об Адаме, о рае, об Еве, о древе, о древней земле, о добре и о зле: обо мне: —

— мне бы надо трудиться, учиться, молиться, чтобы мочь зарабатывать хлеб наш насущный: и денно, и нощно.

— «Хлеб наш насущный даждь нам днесь! И остави нам долги наши, якоже и мы...»

. . . .

Воспоминание о потерянном рае гнетет; и я — ходил в Рае.

Где он?

Был под веками он: прыщущим пламенем разверзалося древнее древо ветвями из молнии, огненностью задевая меня; световая смоковница силами крепла; глаз оттуда смотрел, раздвигаяся, лепестясь мне цветком; голубой цветок цвел; древо жизни мое покрывалось цветами; золотое яблоко зрело; и вот: облетело оно; как и старый Адам,— изгнан я; изгнана Поликсена Борисовна из Трубниковского переулка; я боюсь, что Раиса Ивановна будет изгнана тоже; мне надо: и денно, и нощно молиться: —

— трудиться, учиться! —

— чтобы мочь зарабатывать хлеб.

— «Даждь нам днесь».

Поликсене Борисовне, знать, недаром белело боа; боа — змей; да, о н о — обвивается вокруг древа из блесков; оно водится в старых косматых лесах; и зовется ужасно: «Constrictor...»; там, в косматых лесах, состоящих из блесков,— боа извивается.

— «Избави нас от лукавого!»

Поликсена Борисовна не сняла при Огневе ротонды, боа и перчаток, и все ж была изгнана; что же было бы ей, коль ротонду сняла бы она?

Раз я видел Дуняшу: она — раздевалась; смотрел на Дуняшу, какая такая Дуняша — без платья: она — длинноногая.

Дуняша же вдруг рассмеялась; и мне пригрозила:

— «Ни-ни!»

Я расплакался: стало мне стыдно.

. . . .

Как же так?

А Раиса Ивановна каждый вечер снимает с себя свое платье; и — нижнюю юбку: при мне! Снимает чулочки: стоит в рубашоночке; даже: берет меня спать.

— «Ай, ай, ай!»

— «Что ей будет за это?»

В ожидании катастрофы я жил: световая смоковница силами огненно крепла в фейерверк молний — под веками: зрели ветви; и голубой цветок зрел; но з м е я там таилась.

В ожидании катастрофы я жил; она и случилась однажды; мы — Раиса Ивановна, я — были изгнаны; я — из светлых миров; а она — на Арбат: за Арбат.

ВОСПОМИНАНИЯ

Небывалая грусть охватила меня; —

— с ней, с Раисой Ивановной, было связано все, что есть; и — предметы, события, комнаты мне менялись мгновенно от ее о них мнений: —

— круглота, деревянная голова, мне, бывало, стрекочет со стен очень строгими стрелками и блистает

язвительным циферблатным оскалом; но Раиса Ивановна —

— милая! —

— мягким агатовым взглядом посмотрит; и — скажет: —

— «Часы!» —

— Круглота, деревянная голова, не страшит.

Где Раиса Ивановна?

Затерялась, исчезла она; знаю я, что прошла —

— мимо стен, коридоров, передней, по лестнице, в переулки и улицы; из метелицы — в вьюгу; а вьюга бушует; прошли — снегометы.—

— «Туда!» —

— «За ней!» —

— «Все!» —

. . . .

Я ищу мою милую; втихомолку прошусь с мамой в город, в Пассаж: там она!

Серафима Гавриловна, бабушка мне грозит: ее прячут — далеко; Серафима Гавриловна... загрызает щеняток, а бабушка — лысая.

Мама берет меня в город: мы на саночках пролетаем; и — в саночки; переулки и улицы пролетают домами; Раисы Ивановны нет; в этом розовом доме, на Кисловке, может быть, она прячется; этот розовый дом я люблю; пролетел этот розовый дом; пролетела Никитская; вот — Столешников переулок; Пассаж —

— зажигается газ; в окнах — лоснятся ленты; малиновеют материи; от окна — к окну: там она!

И — бегу прямо в дверь: открываю —

— какая-то дама стоит; и — бордового цвета материя льется нá руки ей.

Но она — не она: ее — нет!

ДНИ ТЕКЛИ

Вспоминаю утекшие дни: дни — не дни, а — алмазные праздники; дни теперь — только будни: —

— дни текли вереницами в тени, которые свесились с потолков, от

углов, сопрягаясь в огромное многорожие, которое есть теперь: не таимая пустота; и она мне темна; и она мне грустна! —

— уж и гости-то Блещенских давно расхватали подсвечники и уморительно припустились бежать — прямо в стены; и, продолжая бесшумную скачку, они теневыми роями летят в коридор: там метаться огромнейшим многорожием; пролетели они: —

— пролетели огни вереницами — в дни; дни — текли; и — безглазо моргали мне в душу; ищу — под подушкою, под диваном, под креслом: Раису Ивановну! —

— Но подобия пусты: все сказки рассказаны.

Звуки — остались.

. . . .

Звуками говорила со мною о н а ; и — садилась в пьянино; водилась в пьянино; и — раздавалась нам в комнаты.

. . . .

Ходим с бабушкой мы: на Пречистенский бульвар — погулять; не Арбатом, как прежде, а — Сивцевым Вражком; выходим —

— какая-то дама уж ходит: одна — по бульвару; там, там она — издали... Сядет тихо на лавочку; закрывая муфтою личико, на меня там посмотрит; значительно посылает улыбки; срываюсь я с лавочки; —

— я хочу к ней бежать, потому что это — о н а; моя милая! —

За дрожащую ручку меня моя бабушка: хвать!

— «Ни-ни-ни!»

Я — попался...—

— Какая-то дама —

— медленно уж уходит туда, в крылоногие ветерки; убегаю за ней: ее — нет; крылоногие ветерки набежали; безрукая шуба щетинится комом меха: в снега; и — хлопает по воздуху крыльями.

. . . .

Сиротливо бредем мы домой — не Арбатом, как прежде, а — Сивцевым Вражком; расколото небо, багрово мрачнеет оно; переходит во тьму.

Черноро́гие ночи мои, черноро́гие дни!

. . . .

По вечерам мне никто не читает — о милой моей королевне; о королевне я думаю; и лучики лампы расширились мне в белоснежные блески развернутых крылий; и голос, забытый и древний —

— как прежде —

поет:

«Я плакал во сне...
«Мне снилось: меня ты забыла...
«Проснулся... И долго, и горько
«Я плакал потом...»

. . . .

Умирает во мне жизнь какого-то звука: не меняет значений, не гонит значений; объяснение — не возжение блесков уже, потому что комнаты Блещенских Клёсей потушены, а объяснение папино, что эта жизнь есть пустая, мне — мрак; объяснение это сдувает все блески; понимание мне —

— превращение клоуна Клёси в фигурочку пустых комнат; получает проценты она; и за векселем вексель она предъявляет, грозя Поликсене Борисовне подметными письмами.

Все я сиживал, мальчик в матроске, в штанишках —

— (это все мне сшили недавно: штанишки!.. Все кончено! Математики близко!) —

— прислушиваясь, как похаживал, погромыхивал Клёся: там — за стенкой; бабушка там, бывало, сидит, копошится: не понятна она; мне страшна. И вот — думаю: —

— бабушка... это... это... какое-то: т о — д а н е т о... коричневато-сутулое;
и — шершаво жующее ртом: —

— «Эй!
— «Ты!
— «Бабушка».—

— Но очкастая

бабушка мне грозится:

— «Ни-ни!
— «А то Клёся придет...
— «А то Клёся возьмет...»

А уж Клёся — там, близко: я лезу под стол: да, я знаю, что знаю; и — никому не скажу: —

— как **о н а** жует

ртом; и как смотрит **о н а** очень злыми глазами: я знаю, что бабушка... это... это... **с т а р у х а**: —

— «Возьмите!
— «Спасите!
— «Поймите!..»

МЕЖДУ ТЕМ

Между тем: —

— был же мир жизни Блещенских, где гусар Миловзориков в малиновом ментике гремел ясной шпорой и где красногрудый гвардеец Гринев гордо выпятил грудь, где, раскинувши в воздухе фалды фрака, двубакий Азаринов завивал легкий вальс в белом блеске колонн, где на веющих вальсах носился и я в белом блеске: —

— обман это все: —

— потому что Азаринов, Миловзориков и Гринев припустились бежать друг за другом, тенея, вливаяся в стены, сливаясь в огромное многорожие мне безглазо моргающих теней и поджидая меня в коридоре: устраивать скачки бесшумных своих косяков вкруг меня: —

— тени свесятся с потолков, мне протянутся от углов: и —

— уродливым роем проходят по комнатам...

. . . .

Я себя вспоминаю вторым математиком, отвергающим ранние смыслы мои и не могущим еще мне составить вне этих отверженных смыслов — единого смысла, которым живет математик: мой папа. Он меня обещает учить: он дарит мне букварик: —

— букварик — не шарик: —

— катается шарик; букварик откроешь — беззвучно пурпурится буква: наука...—

— без звука!

Я не знаю, когда это было: —

— и было ли? —

— помню

тонкий, но громкий звонок: —

— к нам вошел «духовник» —

— о дыхании, духовенстве, духовности, духе я слышал: «духовник» — это дух, у Престола подъемлющий руки, а после — ходящий по улице в черной шляпе с полями и с длинными волосами: —

— вошел «духовник» обвисающий волосом: волоса, опустясь на глаза, фосфорически ясные блеском, упали на плечи под круглою шляпой с полями; гремел он калошами (громы — действия духов); и высекся отблеск во мне —

— о добре и о зле! —

— уподобляемый блеску солнца, упавшего очень громко на нас; и во мне родилося ощущение себя мыслящих мыслей, мятущихся крылорогими стаями: —

— ожидания приподымались во мне! —

— лебединые перья коснулись меня: мне сияющим ощущеньем тепла, которое подавали нам в церкви — в серебряной чашечке...

«Он» стоял перед мамою; чернокосмая борода, чернокосмая голова и до ужаса узнанный лик осветили сознание мне, вылезая из крылий огромной крылатки; как двулучием, встряхивал крыльями; прошел он в гостиную; надломился, сел в кресло; качался крылатою головою в темнеющем воздухе.

И казалося: —

— приподымется, снимется с кресла, качаясь в темнеющем воздухе; подхвативши меня, он со мною помчится сквозь окна: —

— зажжемся за окнами: тысячесветием в тысячелетиях времени, осыпаяся песней без слов, которую в старине он певал: —

— невыразимости, небывалости состояния лежания его головы в волосах, падающих на глаза и на плечи из

сумерек и крыловидно порхающих в разговоре, напали своим многим смыслом.—

— Хотелось,—

— чтоб мамочка окропила его опопонаксом «Пино» или шипром: многий прыщущий смысл прытко прыщущим шипром! —

— Крылорогими стаями рой себя мысливших мыслей носился по комнате...

Он исчез как-то вдруг.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ

Рассуждали у нас о каком-то Владимире Соловьеве — прохожем: —

— без проку и толку он ходит: его принимают за черта!..

— «Блестящая, знаешь ли, личность!»

— «Опаснейший человек!» —

— говорилось у нас.

Казалось: —

— Владимира Соловьева я видел: и есть он — тот самый (а кто — ты не знаешь); и тем самым взглядом глядит (а каким — ты не знаешь): незабываемым никогда!

. . . .

Выражение «опаснейший человек» вызывало во мне представление об опасностях, сопряженных со странствием по домовым коридорам —

— в которые входишь, чтобы идти, все идти, все идти, пока —

— не будешь подхвачен «опаснейшим» Владимиром Соловьевым, шагающим к дальним целям; и — ожидающим в коридоре — попутчиков: к дальним целям; это странствие напоминало впоследствии мне: —

— странствие по храмовым коридорам ведомого египтянина в сопровождении космоголового духа с жезлом —

— до таимой комнаты блеска, откуда показывается сама Древность в сединах и пышные руки разводит свои из Золотого Горба, чтобы —

— вместе с Владимиром Соловьевым, склониться уже у завесы, как полные

тайны фигурки на деревянном шкапу, что склоняются темнородными пятнами перепиленных суков из деревянных волокон,— как бы из-за складок; —

— Древность склонится там под Золотым под Горбом; а Соловьев под крылаткою; Соловьев там протянет свои необъятные руки; разведет там ладонями —

— образы посвященных переживалися мною впоследствии — так! —

— Соловьев, знаю я, станет тут: ослепительно блистающей личностью; и он бросится сквозь завесу —

— пролет в небосах! —

— на развернутых крыльях крылатки: —

— блистания этого Владимира Соловьева там, в далях, крылаткой и ликом напомнит двулучие: с ясным диском в серодине.

. . . .

Я был у Дадарченок: —

— с девочкой, Сонечкой, мы сидели вдвоем: в теневом уголку; было мило и древне; посмотрели мы с Сонечкой на гостей; тут пришел — этот самый: до ужаса узнанный ликом смотрел; и — без слов говорил.

. . . .

Невыразимое чувство: —

— я его впоследствии узнавал, неоткрытым в своей остроте, но мне глухо звучащим под образами и событиями жизни — в произведениях искусства, в грохоте городов, между двух подъездных дверей; более всего — на ребре хеопсовой пирамиды, в час тихий вечера, когда солнце Египта зловеще отускневало в подпирамидной пыли; и — плавали золото-карие сумерки.

ЗАКАТЫ

Удивляюсь закатам: там кто-то блистает в багровых расколах, крылые косяки на стенах: пятна пурпура, тая, проходят; со стен — круглота —

— деревянная голова! —

— огрызнется багрово оскалом; миллионом багровых пылинок пересыпаются лучевые столбы; облачко — ясноглаво; и —

пламенным ободом ополчинилось в небо оно; все — уставились в рубинные окна: моргают в закаты.

Иногда за окнами — дымы: мороз! Яснолапые облака обвисают тогда черноватыми дымами; и, падая в дымы, блистает оттуда диск солнца краснеющей, самоварною медью; высоко-высоко-высоко — прояснятся краснороги над крышами; то —

— закат, на который глядят...

. . . .

Закат: —

— все отряхнуто: комнаты, дома, стены; все — четко; все — гладко; земля — пустая тарелка; она — плоска, холодна; и — врезана одним своим краем туда: —

— где —

— из багровых расколов до ужаса узнанным диском огромное солнце к нам тянет огромные руки; и руки —

— мрачнея, желтеют; и — переходят во тьму.

ДУХИ

Бабушка — все-то шепчет о духах; поминаньице —

— лиловая книжечка! —

— все, бывало, с ней рядом!

И — думаю: —

— о дыхании, духовенстве, духовности, духовниках и о духах; духовник — это дух, у престола подъемлющий руки; напоминает он солнце с лучами — с двумя конусами своих парчовых рукавов; световыми крылами он бьет, как громами; и облачится в глаголы, как... в светы: —

— Иоанникия, Митрополита Коломенского и Московского, видел я!..

. . . .

Представление о духовных благах и ценностях очень ярко во мне — неописуемых, непонятнейших: в неописуемых, в непонятнейших состояньях сознания переживаю я духов по образу и подобию ладанных клубов, взлетающих —

— из подкинутой чашечки!

Золотые, духовные люди к нам ходят... из Церкви; а

в Церкви — кадят: —

— «Благослови, владыко, кадило!» —

— помню я этот возглас!

Кадило... моя голова, когда начинаю раздумывать я обо всем о духовном.

Как бы это мне выразить?

. . . .

Закрываю глаза: догоняю думами духов; представляются: —

— трепеты, блески под веками; ощущаются: трепеты детского тела; в трепетах прорастает — глава; прорастают руки и грудь мне травой, тихо зыблемой ветром; трава зацветает цветами, пестрейшие образования цвета-света — маячат, летят, улетают; отхлынуло все мне во мне; в теневое темное море растаяла пена из блесков.

Тогда... —

— Что тогда?

Не умею сказать.

КАДИЛО

Невыразимости, небывалости лежания сознания в голове, неизреченные речи духа —

— сказал бы я —

— были: неизреченным его прорастанием в мое детское тельце: прорастанием впечатлений в рои ощущений; в сознании упадала преграда меня духом и «я»; наполнялось сознание жизнью его, как протянутой в пальцы перчатки рукою; сознание выворачивалось — из меня самого: и — распускалось цветочною чашею — надо мною самим (голубой цветок цвел); дух слетал в эту чашу: —

— в это время чувствовал я: —

— давление костей черепа:

сжималась моя голова; ощущалися мне не поверхности мозга —

— (обычно мы мыслим поверхностью мозга), —

— а центры; ощущения моей головы мне являлись как бы: прощупьями мозговых оболочек в вещества жизни мозга; все влипалось мне — внутрь: отливало мне в сердце; внутри себя, внутрь себя отходило мне все; ощущалась моя

голова мне на уровне носа; вот она мне — орех на моем языке; я глотаю орех; ощущение переходит мне в горло: сжимается горло; все, что выше,— истаяло: мозг, его оболочки, кость черепа, волосы ощущают себя не собой, а изливами пляшущих, себя мыслящих мыслей в громадине безголовых пустот, улетающих на спиралях своих —

— крылорогими стаями!

Холоднело, легчало пространство былой головы; раскрываясь в спиралях развернутых листьев и веточек: —

— спиральное расположение листьев растений теперь вызывает во мне впечатления крепнущей мысли, растущей спиралями, где закон повторения следует — через три, через пять, через шесть: —

— цветок розы построен законами пентаграммы; и гексаграмма есть лилия.

Мне казалося: —

— ничего внутри: все во мне — все во вне: проросло, излилось — существует, танцует и кружится; «я» — «н е-я»: все, что было мне мною когда-то,— теперь —

— безголовое, проседает во мрак: голова провалилась; в ее месте есть странная сфера биений вокруг единого центра.

. . . .

Многоочитый, но обращенный в себя круголет переживал себя: —

— «внутрь!»

Но это «внутрь» было — «вне»: «вне» сидевшего тела; если бы: —

— это «внутрь» мне вообразить, сфера влитых излетов —

— вовнутрь! —

— мне напомнила б: сферу бушующих перьев, мне кроющих сферу горящего лика под нами, ко мне низлетевшего множеством прыщущих крылий: я —

— с духом: я — в духе!

. . . .

Сидит безголовое тело; сложило оно мертвеневшие ручки на креслице; сидит себе — так себе, вне себя; и — само по себе: —

— вот оно: Кот Летаев.

Где «я»? И — как так? —

— И почему это так, что у него: «не я» — «я»?

Не было блодно-каштановых локонов, падающих на глаза и на плечи: одна лишь безглавица; и — крыловидно порхала она, точно прыщущий из сияющей чашечки дым: —

— «благослови, владыко, кадило!»

ЕЩЕ — ВОТ

Еще вот: —

— я садился на креслице: чувствовать в креслице: —

— отливало все в сердце: набухало во мне тепленевшее сердце; в руках зажигались пожары: ветрами; они выбивали из рук: вылетали из рук мне, как... руки; и эти мне «р у к и и з р у к» изливались под лобик, как... в пару перчаток: —

— сказал бы я ныне: —

— мои полушария мозга стремительно плавились: и перьями блещущих крылий, разбив черепные покровы, они принимались дрожать: процветать; и мощною прорезью крылий переживалося содержание вне — мысленных ощущений моих: себя волящих чувств: —

— переживалися: —

— птицею, припадающей к безголовому телу с просунутой длинной шеею —

— горлышком! —

— в сердце: птица думала сердцем моим; надувало его лучевым излиянием солнца, пролитого в руки; в месте отверженной головы бились крылья; и — волили взмахами: неподвижное тельце являло мне чашу: мысль — «голубку»; вылетала ль, влетала ль голубка — не знаю; казалось: —

— многообразие положений сознания относительно себя самого; воображалось: летающим многокружием; многокружие потом размыкалось; оно становилось двулучием с ясным диском в средине; двулучие билось двукрылием; а диск улетал на двулучии:

от меня — надо мной; он описывал дуги: летал; перелеты его с головы на постельку, на шкапчик, на стены меня занимали; качался крылами в темнеющем воздухе; и шумно снимался; в сияющих перьях бросался — за мною, ко мне и... в меня; снять мне «Я» и лететь с ним чрез форточку в бесконечность: —

— тысячелетием в тысячелетиях времени!

. . . .

Котик Летаев, оставленный нами, сидел, проседая во тьму своим креслицем; может быть, видел он: белоснежные блески ресниц —

— свет из глаза! —

— и может быть: лебединые перья по нем проходили сияющим ощущеньем тепла: сквозь него самого.

Комната прояснеет, бывало; он знает — летит существо иной жизни; порхать, трепетать, с ним играть.

«Мы» же — «мы»! —

— тысячесветием в тысячелетиях времени мы неслись; появлялся Наставник и несся за нами: стародавними пурпурами; и ты, ты, ты, ты — нерожденная королевна моя — была с нами; обнимал тебя я — в моих снах — до рождения: родилась ты потом; долго-долго плутали по жизни, но встретились после: узнали друг друга.—

— «Я плакал во сне...
«Мне снилось: меня ты забыла.
«Проснулся... а слезы все льются
«И я не могу их унять».

После встретил тебя: ныне снова — далеко, далеко моя королевна.

— Простираюсь к тебе... И — к Наставнику:

— «Вспомните!»

. . . .

Если бы в этих мигах моих мне взошло полноумие будущих дней и осветило бы то тело и если бы — тело умело бы «видеть»: —

— увидело бы: наше небо с землею, Москвою, Арбатом, квартирой и Котиком, проницаемым крыльями невероятной вселенной: вселенная: —

— птицею спускалась в него; перед собой она видела — нет, не Котика, а пустую, глухую дыру —

— темя

Котика! —

— в которую —

— вот-вот-вот: точно в гроб, оно ринется!

Все ложанья сознанья под черепом — странноужасны.

. . . .

Котик — маленький гробик!

ДВУЛУЧИЕ

Как бы ни было: —

— духа видывал я: он —

— сияние; двулучие от него отлетает; два луча бегут вокруг диска; сольются, нагонят друг друга; дух тогда, как звезда; из нее излетает, как выстрел, огромные лезвия лучевые: мне в сердце; дух — меч.

«И он мне грудь пронзил лучом
«И сердце трепетное вынул,
«И угль, пылающий огнем,
«Во грудь отверстую водвинул».

. . . .

А то, раздвоясь, закачается дугами крылий; и тихо распустится, точно древо цветами,— своими лучами; и нет его: отдал себя он лучам; а лучи,—

— фосфореют, мутнея во мраке, двумя лопастями, как... лилии; знаю я, отчего ангел... с лилией.

Лилии возникали во мне; и лилии ли из меня вырастали, в меня ли врастали — не знаю; казалося: я иногда в лепестках; лепестки ясно светятся, облекают собой; я — в одежде из света.

Я духовную ризу носил: облекался в одежду из света; воображение облекало в духовность меня; и был в блеске я; знаю я: —

— я — сгустился из блеска; меня выстрелил ангел: я — луч, раздвоенный в излучину; ангел себя отдал мне: он во мне; бесконечные годы излучина фосфорически омутневала во мраке двумя полукружьями крылий; и медленно обрастали они костяными наростами... черепа: —

— так два полукружия мозга, быть может, сгущенные

крылья; если бы развернулись они,— разорвался б мне мозг; он — духовная пряжа; он — чехол; дух тянулся к нему; облекался в него; начинали вздрагивать думы: и Котик Летаев сидел, как...

...Тамара!..

. . . .

И — «Тамара» сидит. И — «Тамара» молчит.

. . . .

Про меня говорили одни:

— Вот «талантливый мальчик»...

— «Он — развит...»

Другие уже говорили:

— «Он — глуп...»

— «Дурачок...»

— «Все молчит...»

— «Не имеет суждений своих...»

— «Ну, Котик, скажи что-нибудь...»

— «Отчего ты молчишь?»

Но, бывало, во мне все сожмется: становится точкою; не умею высказать ничего; все-то думаю: что бы такое придумать: —

— слова — кирпичи: чтобы выразить, нужно упорно работать мне в поте лица над сложением тяжкокаменных слов; взрослые люди умеют проворно сложить свое слово.

И слышу:

— «Да он не имеет суждений...»

И я становлюсь на карачки: виляю им хвостиком,— к спинке приложенной ручкой.

И слышу:

— «Вот видите?»

— «Я говорю...»

— «Обезьянка какая-то».

Мне так больно!

. . . .

Многообразие положений сознания относительно себя самого все танцует, бывало, безóбразным, веющим смыслом: летает своим многокружием, как яснеющим диском, во мне; и — размыкается дугами; мысль течет выстрелом странных ритмов; вздрагивает все мое существо: безответно, мгновенно взрывается, не разрешается образом; и — улетает сквозь окна.

В голове моей ветер — всегда: повествует мне ветер в трубе: о летающем космосе.

— «Ну-ка, ну-ка — скажи».

Немота тяготит.

Что сказать?

— «Глупый мальчик: не развит!»

А как мне развиться? Мамочка запрещает развиться; развитие — страшно; быть — глупеньким мне.

Я поплачу.

Штанишки не в пору: теснят они, жмут меня; хожу я матросом — с огромным и розовым якорем, но... без слов; и, отвечая на ласки, я трусь головою о плечи; из-под бледно-каштановых локонов дозираю я мир: о, как странно!

Нет, не нравится мир: в нем все — трудно и сложно.

Понять ничего тут нельзя.

БЕАТРИСА ПАВЛОВНА БЕЗБАРДО

Тетя Дотя — бедная; и — бедная бабушка; мне их жаль: бедные — тетя Дотя и бабушка!

А были — богаты.

Оттого-то они все у нас: и обедают, и ночуют; то — одна, то — другая; а то — обе вместе; и — ссорятся вместе; мы-то вот: ночевать никуда не пойдем...

Тетя Дотя на службе, на Брестской железной дороге; и ходит на станцию — ночевать: через два дня — на третий; а бабушка вяжет косынки: костяными крючками; и когда пуст наш дом, у нее в глазах пойдут пятна; и вот только поэтому она потянется в кухню: заводит тары-бары: — о том, как она была... в соболях, и в какие ленты рядилась, и в какие кареты садилась, и как из Ирбита она получала в подарок меха чернобурой лисицы —

— бабушке выход на кухню был нашей мамочкой воспрещен; но, бывало, бабушка в кухне Петровича, Афросиньина мужа, угащивала табачком, раскуряемой «путаной крошкой».

Тетя Дотя и бабушка проживают в квартирке о трех только комнатах, платят двадцать пять рублей серебром, да еще — с дядей Васей, с чиновником; он ходит в Палату с портфелем под мышкой, с кокардою на околышке козырька и с двумя бакенбардами; его прозвище — англичанин; он еще все выпивает... с Летковым; и этот самый Летков — роковой человек.

Дядя Вася приходит к нам редко: устраивать контры и обозвать генеральшею... нашу мамочку; это

просто не то; просто черт знает что; это все — Беатриса Павловна Безбардо́; и — говорят на ушко.

А что «это все», о чем на ушко?

Беатриса Павловна Безбардо́?

И никто — ни за что: а не то — произойдет замешательство: тетя Дотя надуется и жалобным голосом примется нам описывать печальное положение своей жизни; а бабушка — плачет.

Папа же — им обоим:

— «Вы, Василиса Михайловна, да и вы, Евдокия Егоровна,— вы, скажу вам, вы Василия-то Егорыча, знаете, оставьте в покое; он — молодой человек; «это все» — так в порядке вещей; и потом — это «в с е» так давно».

А вот что «э т о в с е»?

Протемнели халвою снега; и была всем халва: на лотках у разносчиков; и утекали сосульки на капельках — в слякоть; саночки задевали полозьями слякоть; гнулись старые спины извозчиков в слякоть; и воющим ветром валилось пространство — на землю; и земной шарик бежал во всем этом.

Очень страшно: что делать?

ВЕСНА

Прослякотился и Арбат; уже он обсыхал; отколотили палками мебель; ножичком отскоблили замазку, вынули стаканчики с ядом и валики с ватой; вымыли нам окошко, и солнце077 заширилось блесколетней за стеклоглазым окошком; огромные краснороги заогневели за крышами — под вечер. Погрохатывало.

Раз прошел дождичек: позеленели все крыши, а тугопучные почки открылись — на красноватых жердях, за бориком, где песик песику пробовал усесться на спину: позеленели все жерди; и закричало на нас: Дорогомилово — грохотом; и стало выбрасывать на Арбат: ломовых, фабричных и конки; поехала пестрая фура: «Шиперко»...

Раз стояли мы на железном мосту над бутылочной мутной водой, раздробленной в громкие белоструи; я бросил весенний подарочек, зайчика,— туда, в белоструи; и плачущим привели меня к бабушке, где дядя Вася с Летковым продолжали уписывать кашу с маслом, а черноглавый Летков из-под гущи усов засверкал нам глазами.

Мамочка говорила им всем про плохую московскую

мостовую, и, разгораясь щеками, вспоминала она Петербург: —

— какие красоты там, какая торцовая мостовая, какие гусары, как они говорят, что едят — у Поликсены Борисовны и у Большого Медведя; рассказала про Мариинский театр и про то, как она налила стакан чаю Великому Князю и как Великий Князь играл в карты...—

— Бабушка натирала «Путаной Крошкою» — табачком — шелестящую пачечку гильз, а тетя Дотя — моргала глазами, вздыхала: на железной дороге ей нет: — Петербурга; и нет ей — гусаров; телеграфистки — вообще ужасно не ком-иль-фо, а телеграфисты — нахалы. Вот уже принесли калачи; дядя Вася — представьте,— без всякого грубианства стал тихонько наигрывать на гитаре:

«Наклонишь ты свою головку,
«И на него поглядишь;
«Но знаю я твою уловку —
«Ты только ревность мою дразнишь».—

— А Летков из-под гущи усов меланхолически подпевал: вот уже они переглянулись и надели пальто.

Мое новое платьице — жмет; и мне грустно; и я — вспоминаю: погибшего зайчика; вспоминаю и то, что нам у нас расставлены сундуки, что туда уложено очень многое; что-то нам приготовлено; что-то будет — не знаю: ветрами повалили пространства; уж и гремело над нами; и земной шарик бежал — во все это. Мне очень странно.

МРАК НЕИЗВЕСТНОСТИ

Знал ли я, что опять мы поедем...— в Касьяново: в изумрудные, кипящие кущи — и к изумрудному пруду, где бегут стальные отливы под липы и ивы; —

— и какие пойдут пироги нам с грибами! —

— где с огромной террасы под ясными днями будем мы распивать молочко, где самый воздух не воздух, а резедовый настой; где бегут облака — кудластые, растормошенные, ясные, а то дымные,

с громом — к бирюзеющей дали, а в воздухе хрусталеет над прудом трескучее крыло коромысла; где из зелени встала — стародавним каменным шлемом и моховатым лицом: однорукая статуя со щитом; где желтеют маслята и где композитор Чайковский проживает от нас в четырех верстах: в Фроловском; где Иван Иваныч Касьянов в горьком запахе роз проповедует нам печально про восстание всех против всех и про то, что нас всех перережут; где по огромной аллее, потрясая в воздухе дурандалом, ожесточенно забегает папа, не согласный на то, чтобы нас перерезали; где по ночам завывают собаки и совы, а над могильным крестом возникает покойный полковник Пупонин и тихо несется в кустах на Касьяновский парк.

Знал ли я, что —

— приедет к нам офицер с эполетами, из города Витебска, что, надевший белый свой туго-стянутый китель, будет он проходить в старый парк и рассказывать всем, как за месяц поправился он в касьяновском воздухе, и, отмахнувшись пахучей акацией от танцующих комаров, позабавит нас анекдотами о командире полка и о витебской барышне.

Знал ли я: —

— что под самую осень, когда по дорожкам закружит, шурша, желтолистие и красноглавый осинник зареет на небе стеклянном, когда —

— проступают холодные пятна под окнами каменной дачи и цокает красная белочка,—

— офицер с эполетами прихворнет —

— и уедет от нас, вдруг на что-то надувшись, с болезнью седалищных нервов... в свой Витебск; и мы переедем за ним: на Арбат.

Воспоминание о Касьянове в это лето мне бледно; оно связано более всего с игрою в крокет офицера, с отплясыванием им лезгинки по вечерам, пред зажженным огнем и с болезнью седалищных нервов, которой боялся я долго.

Мне бессказочно все в этот год, но я переполнен какой-то невнятною правдою; провозгласи ее я — и огромное Слово опустится: в слово мое; и — новые блески зажгутся; и ко мне склоненные старики — папа мой, Поливкт Андреич Дадарченко, Федор Иваныч Буслаев, Сергей Алексеевич Усов, мой крестный, — огромную правду мою понесут по мирам: затрясут очкастыми головами; и — рявкнут:

— «Воистину так это, Котик!»

Но — нем: —

— Правду высказать невозможно: она горит в сердце, к которому опускаю глаза — опускаю: смотреть себе в грудку: во мне подымается жест; две ладони подъемлют мне... воздух: у сердца; и этот воздух мне — сладкий.

Он — веет в лицо мое.

Чем?

. . . .

Взрослые говорят обо мне; тетя Дотя и Серафима Гавриловна представляются мне очень злыми: они ненавидят огромное Слово, которое спустится в слово мое (я не знаю, когда это будет); распнут меня —

— о распятии слышал я.

Старики подбежали ко мне: и чего-то ждут; окружают меня добродушною лаской, вынуждая меня преждевременно развиваться; Полиевкт Андреич Дадарченко мне поет:

— «Ша-ша-ша: антраша́!»

А Федор Иваныч Буслаев в щетинистой шубе приносит мне сладкой пастилки; подносит мне папа букварик.

И — старческий шепот стоит вкруг меня: и мне кажется, что вот-вот они склонятся передо мною с дарами, — таить, молчать, вспоминать какую-то древнюю правду, которой касаться нельзя, которую вспоминаешь безропотно, вспоминаешь, тогда —

— об Адаме, о рае, об Еве, о древе, о древней змее, о добре и о зле.

Папа, Федор Иваныч, Сергей Алексеевич Усов составили себе представленье об Еве и древе; и ждут от меня подтверждения своих слов; воображаю впоследствии я себя стоящим средь них; и мне видится жест мой: —

— стою,

опустивши ресницы: и — с бьющимся сердцем; две ладони — ладонь под ладонью! — все силятся приподнять в сердце данное слово: мне к горлышку; в горлышке что-то теснит; и слеза ясно зреет; но слово — не поднято; в полуоткрытый мой ротик повеяло сладким ветром моим: две ладони приподняли к ротику — только воздух пустой: слова нет; я — молчу...—

— И мне грустно: я ничего не скажу; если бы я и сказал, то слова мои обманули бы их, отвергая дары; потому что я знаю, что знаю: мне кусочек рябиновой пастилы не говорит ничего; пастила будет съедена; и от этого ничего не случится; скажи это я,— знаю я — огорчится мой друг, Федор Иваныч Буслаев; и как сказать папочке, что букварик его непонятен и чужд вовсе мне (откроешь — беззвучно пурпурится буква: наука без звука); как сказать мне, что клоунчик вырос огромнейшим Клёсей и погасил все огни: погасил древо жизни под веками, что чудесная весть — об Адаме, о рае, об Еве, о древе, о добре и о зле! — лишь пустой особняк в глубине Трубниковского переулка...

. . . .

Я себя вспоминаю поникшим: мне грустно; дары окружающих меня ласкою греющих стариков лишь обломки... рухнувших космосов и стародавних громад, о которых давно повествует мне ветер в трубе, что их — нет: и туда, в это «нет», побежал земной шарик; букварик мне их не вернет.

. . . .

Между тем: уже бабушка, тетя Дотя и старая дева, Лаврова, обижены ожиданьями; и когда они не исполнятся, то есть —

— когда косматая стая старцев, шепчась и одевая печально шершавые шубы, уйдет от меня, то —

— то придвинется стая женщин с крестом: положит на стол; и меня на столе, пригвоздит ко кресту.

. . . .

О распятии на кресте уже слышал от папы я.

Жду его.

ЭПИЛОГ

Миг, комната, улица, происшествие, деревня и время года, Россия, история, мир — лестница расширений моих; по ступеням ее я всхожу... к ожидающим, к будущим: людям, событиям, к крестным мукам моим; на вершине ее — ждет распятие; мое платьице из пунцового шелка, отсюда, из этого мига, мне кажется: багряницей моею; мне кажется: я тащу на себе деревянный и плечи ломающий крест; стая воронов обгоняет меня, задевая крылами; в клювах их все железные гвозди: проткнутый, я повисну на них; представляется мне: ветер рвет багряницу; под бременем падаю я; у ног моих яма; с годами она зарастает невнятными травами.

Ступень за ступенью открыта мне спереди:

Ожидают меня.

Ожидают меня: мои новые миги; и — новые комнаты —

— комнаты, комнаты! —

— из которых назад мне вернуться нельзя: и глаза мои расширяются; и — невидящим взором гляжу я в пространство: происшествия нарастают деревней и временем года; шумы времени ожидают меня, ожидает Россия меня, ожидает история; изумление, смятение, страх овладевают: история заострилась вершиной; на ней... будет крест; я поставлю его: будет он мне последней ступенью к огромному миру; на нее... должно взлесть; под ногами моими мне будет сумятица жизни, толпа, на которую буду взирать я невидящим взором, обнимая руками огромные перекладины дерева.

Мое слово могло бы родиться не прежде.

Пройдут за ступенью ступень: миг, комната, улица, происшествия времен года, Россия, история, мир.

Это все — впереди.

Позади же действительность, о которой я думаю ныне, что она — не действительность; но она и не сон.

— «Что все это?»

— «И — где оно было?»

. . . .

Если бы ощущения эти остались мне в моих будущих днях, если б в темное это место взошло полноумие моих будущих дней и осветило бы мне восстание моей младенческой жизни, тогда бы —

— в месте сознания бы оказался

провал; сознания в нашем смысле, где —

— (что-то мучилось красным пожаром, в мучении вспыхнуло «я» — мое «я», исходя в окрыленных огнях, как в крылах) —

— вспыхнуло Солнце, Око, и, меня отторгнувши, из меня излетело, оставив связь блесков, между собою и мною: мои комнаты Космоса!

Мои комнаты Космоса мне остались под веками долго: в годах угасали они. Они вспыхнули — после.

. . . .

Я прошел состояние тепловое: внутри его вспыхнуло Солнце; снялось, взлетая яснеющим диском и освещая меня, как луну,— стародавними мифами; внутри них вытверделась земля: в ней живет ныне «я».

. . . .

Знаю я,— будет время: —

— (когда оно будет, не знаю) —

— буду разъятый в себе, с пригвожденным, разорванным телом, душою,— в разрывы страданий моих устремлять долгий взор; задымятся события мне стародавними клубами; отверденелый мой корост рассядется надвое: и полукружие снов вновь нальется: яснеющим диском; полетит ко мне диск (будто бросится солнце на землю), сжигая меня.

Вспыхнет Слово, как солнце,—

— это будет не здесь: не теперь.

Самосознание мое будет мужем тогда, самосознание мое, как младенец еще: буду я вторично рождаться; лед понятий, слов, смыслов — сломается: прорастет многим смыслом.

Эти смыслы теперь мне: ничто; а все прежние смыслы: невнятица; шелестит и порхает она вокруг древа сухого креста; повисаю в себе на себе.

Распинаю себя.

Стая воронов черных меня окружила и каркает; закрываю глаза; и в закрытых ресницах: блеск детства.

Перегоревшие муки мои — этот блеск.

Во Христе умираем, чтоб в Духе воскреснуть.

1915 г.

С. 307. *Ненюфары* — водяные лилии.

С. 362. *Пурпуры Содома и Гоморры* — Содом и Гоморра — в библейской мифологии два города у устья реки Иордан, жители которых погрязли в распутстве и за это были испепелены огнем, посланным с небес.

С. 377. *Киновия (греч.)* — общежительная обитель.

С. 398. *Полиелей* — пение псалмов во время утрени, прославляющих бога: «Хвалите имя Господне» и др.

С. 404. *Потир* — богослужебный сосуд в виде чаши, в котором во время литургии находятся Святые Дары.

С. 413. *Рясофорная* — монастырская послушница, получившая от настоятельницы благословение носить рясу с клобуком.

Котик Летаев

Печатается по изданию: Андрей Белый. Котик Летаев: Повесть. Пг.: Эпоха, 1922.

С. 434. *Эон* — термин древнегреческой философии, означающий — «жизненный век», «вечность».

С. 440. *Архитрав* — архитектурный элемент: вместе с фризом и карнизом образует антаблемент — верхнюю горизонтальную часть здания, опирающуюся на колонны.

С. 452. *Анаксимандр* (ок. 610 — после 547 до н. э.) — древнегреческий естествоиспытатель, географ и натурфилософ.

С. 454. *Огонь Гераклита* — Гераклит Эфесский (ок. 520 — ок. 460 до н. э.) — древнегреческий философ-диалектик, считал, что первоначало сущего — мировой огонь, который есть также душа и разум; путем сгущения из огня возникают все вещи, путем разжижения в него возвращаются.

С. 460. *Вейка* — мелкое сито для просеивания муки.

С. 462. *Сублиминальное поле* — по теории З. Фрейда, сублимация — психический процесс преобразования и переключения энергии повышенно эмоциональных влечений на цели социальной деятельности и культурного творчества.

С. 467. *Крамеровские этюды* — Крамер Иоганн Баптист (1771—1858) — немецкий пианист, композитор и педагог. Его этюды были распространены как пособие для развития фортепьянной техники.

Черни Карл (1791—1857) — австрийский пианист, педагог и композитор, глава венской пианистической школы, учитель Ф. Листа.

С. 471. *Корибанты* — мифические фригийские жрецы, в диком

воодушевлении, с музыкой и танцами отправлявшие служение великой матери богов.

Хтонические культы — культ хтонических божеств — т. е. тех богов у древних греков, которые так или иначе были связаны с производительными силами земли или с подземным миром. Хтонический культ очень древний, в нем много архаического, что дало основание некоторым ученым считать его исходным пунктом для всей греческой религии.

Фалес (ок. 625 — ок. 547 до н. э.) — древнегреческий мыслитель, родоначальник античной философии и науки.

Эмпедокл из Агригента (ок. 490 — ок. 430 до н. э.) — древнегреческий философ, поэт, врач, политический деятель.

С. 479. *Лагранж* Жозеф Луи (1736—1813) — французский математик и механик.

С. 483. *Жезл Аарона* — Аарон — ветхозаветный первосвященник. Состязаясь с египетскими жрецами в чудотворстве, превратил свой посох в змею.

С. 485. *Опопонакс* — ароматическая смола.

С. 488. *Конгруировать* (от лат. congruens — соответствующий) — совпадать, соответствовать.

С. 490. *Океан* — в греческой мифологии божество одноименной реки, омывающей землю. На крайнем западе омывает границу между миром жизни и смерти.

Титан — в древнегреческой мифологии титаны — боги первого поколения, рожденные землей Геей и небом Ураном.

С. 513. *Треченто, кватроченто* — периоды итальянского искусства: XIV в. — переход от готики к Возрождению и XV в.— расцвет культуры Раннего Возрождения.

С. 514. *Дарбу* Жан Гастон (1842—1917) — французский математик, иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук.

Пуанкаре Жюль Анри (1854—1912) — французский математик, физик, философ, иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук.

Вейерштрассе Карл Теодор Вильгельм (1815—1897) — немецкий математик. Иностранный член-корреспондент и почетный член Петербургской академии наук.

С. 520. *Пифагорова гармония сферы* — античное эстетико-космологическое учение, выдвинутое Пифагором (VI в. до н. э.).

Космос — ряд небесных сфер, каждая из которых издает свой музыкальный звук. Расстояние между сферами и издаваемые ими звуки соответствуют гармоническим музыкальным интервалам.

С. 539. *Аггел* — вестник, дух бесплотный, одаренный умом, волею и могуществом, высшим, чем у человека.

С. 541. *Теплота* — здесь: — вино для причастия.

С. 566. *Пентаграмма* — в средние века распространенный магический знак — правильный пятиугольник, на каждой стороне которого построены равнобедренные треугольники, равные по высоте.

Гексаграмма — правильный шестиугольник, в средние века ему также придавалось магическое значение.